

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 10

1987



Юрий ОСИПОВ

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

В ПАРКЕ СТАРИННОМ...

Б И Б Л И О Т Е К А «О Г О Н Е К» № 10

Юрий ОСИПОВ

В ПАРКЕ СТАРИННОМ...

ОЧЕРКИ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1987

Юрий ОСИПОВ

Юрий Иосифович Осипов родился в 1947 году в Москве. Окончил Институт Восточных Языков при МГУ. Работал корреспондентом центральных газет. Выступает в печати со статьями и очерками, посвященными истории отечественной культуры, русской классической и современной советской литературе. Автор книги музейных очерков «Мезонин поэта».

В ПАРКЕ СТАРИННОМ...

... Объять Богородицк взглядом, постичь его классический архитектурный замысел и планировку лучше всего с каменной балюстрады на крыше дворца. Стоит преодолеть сотню горбатых, потрескавшихся от времени ступеней, чтобы разом увидеть вдруг, как сходятся к пологому правому берегу Уперта рассекающие пыльную зелень все те же неизменные лучи пяти главных улиц.

И тогда преображенный современностью заштатный райцентр Тульской области являет вновь по воле своего создателя образ древнегреческого амфитеатра: поперечные улицы — ряды кресел, радиальные — проходы между ними, зеркало пруда из перегороженной реки — сцена, а на ней — немое действие величавой простоты дворца, словно парящего над землей.

Парк затейливыми и пышными декорациями окружает дворцовый холм и, как любят выражаться архитекторы, «держит» вместе с ним город. Тот, что вырос из небольшой стрелецкой крепостцы, был потом государевым пашенным заводом, молчаливо провожал отряд местного воеводы Нелединского в погоню за прорвавшимися под Чернью разинцами, кряхтя, тянул суровую лямку петровской колонизации края, поставляя лошадей для нужд армии, партизанил в гражданскую, строился, заводил промышленность, отправлял лучших сынов на фронты Великой Отечественной, а сегодня дает стране уголь, ремонтирует сельхозтехнику, готовит рабочую смену. Город думает о будущем и чтит свое прошлое, которое напоминает здесь о себе остатками крепостного вала, археологическими раскопками, славными именами отечественной культуры.

Давно уже нет в Богородицке шестиугольной центральной площади с присутственными местами, домом городничего, казначея и купеческими подворьями с лавками. Однако и теперь, будто воочию, следишь за пробирающимся здесь невысоким человеком в заляпанном глиной камзоле и завитом парике, — тем самым, что носил этот город и парк в рудные чертежи под мышкой и никогда не повышал голоса на рабочих.

Звали его Андрей Тимофеевич Болотов.

Современники знали Болотова главным образом как первого нашего ученого-агронома, автора оригинальной помологической системы и обстоятельнейшего ботанического руководства. В памяти поколений этот человек остался, пожалуй, наиболее плодovitым русским писателем-просветителем «осмнадцатого столетия», подарившим потомкам колоссальный мемуарный свод «Жизнь и приключения Андрея Болотова...» — кладезь богатейших сведений о быте и нравах эпохи. Для подписчиков новиковского «Экономического магазина» он был многолетним редактором и фактически единственным сотрудником сего журнала, в который написал около пяти тысяч статей. Все же написанное и переведенное Болотовым заняло бы, по примерным подсчетам С. А. Венгерова, составителя «Критико-библиографического словаря русских писателей и ученых», 350 томов обычного формата.

Разработанный Андреем Тимофеевичем образцовый генеральный план Богородицка сделался достоянием учебников по истории отечественного искусства. Кичливый петербургский маэстро Лейм при всем старании не сумел отыскать в болотовских листах ни единого изъяна и с кислой миной вынужден был подписать произведение провинциального самоучки. «Сущим цветником» окрестила этот проект Екатерина Вторая и повелела «точно таким образом город расположить».

А ведь Андрей Тимофеевич и не помышлял о лаврах архитектора! Это было так, побочным увлечением, отдохновением души. Равно как и будущий венец его творчества, «чудо здешних мест» — пейзажный Богородицкий парк, не уступавший, по уверениям знатоков, прославленным садово-парковым фантазиям Гонзаго и Камерона в Павловске и Царском Селе.

Один из первых пейзажных парков в России, созданный к тому же не иностранцем, а русским, он долго служил вдохновляющим примером для подражания.

* *
*

Мы застаем Андрея Тимофеевича у подножия Богородицкого холма весной 1774 года, когда сюда потянулись со всей округи вереницы мастерового люда, подводы с камнем и лесом. Начинаясь закладка дворца и новой Казанской церкви при нем.

... Десять суток, разбрызгивая талый снег и грязь, скакали из столицы гонцы с указом императрицы, согласно которому город передавался в дар малолетнему сыну Екатерины, князю Алексею Григорьевичу Сицкому «исключительно как дань любви и благодарности к отцу его, бывшему армейскому капитану Григорию Орлову».

По одному из пожалованных богородицких имений — Бобринки — владетельный князь удостоился позднее титула граф Бобринский, дав начало известному в России роду крупных землевладельцев и сахарозаводчиков, государственных и общественных деятелей либерального толка.

Так Богородицк, город древний, город заслуженный, получивший при Иване Грозном право чеканить собственную монету, одним росчерком пера лишился уездной самостоятельности, отходил в графскую вотчину.

Но, как знать, не случись этого, возможно, не возник бы в далеком тульском уголке дворцово-парковый ансамбль, увековеченный именами Ивана Старова и Андрея Болотова. Они работали порознь и, очевидно, даже никогда не встречались. Но вдохновение их слилось в единую гармонию. Старов, молодой тогда архитектор, которому совместно с Казаковым и Баженовым предстояло закладывать основы русского классицизма, только что возвратился из шестилетней, как бы мы теперь сказали, стажировки во Франции и Италии, куда был направлен в числе лучших выпускников петербургской Академии художеств.

Строительство дворцовых усадеб в Богородицке и Бобрिकाх, первый большой заказ, на котором Старов опробовал свой быстро крепнувший талант, послужило прообразом ряда его последующих созданий. Недаром в плавных линиях стен и купола Казанской церкви угадывается, словно в миниатюре, воздушный абрис Троицкого собора Александровской лавры.

А сам дворец... «Вот сейчас ты увидишь дом, — нетерпеливо поворачивается к Долли Анна. — Это еще дедовский дом, и он ничего не изменился снаружи.

— Как хорош, — сказала Долли, с невольным удивлением глядя на прекрасный с колоннами дом, выступающий из разноцветной зелени старых деревьев сада».

Таким увидел богородицкий дворцово-парковый ансамбль уже в семидесятых годах прошлого века Лев Николаевич Толстой, когда познакомился на охоте с тогдашним хозяином поместья, министром путей сообщения А. П. Бобринским, внуком первого владельца усадьбы. На страницах «Анны Карениной» не раз заходит речь об этом дворце и парке, ставших в романе имением Вронского.

В ту пору двухэтажный белокаменный особняк на приподнятом цоколе полуподвала казался необыкновенно высоким среди окружавших здание насыпных террас и флигелей. Восхищенный взор путешественников долго следовал за легкими изгибами бельведера и выступавшими по всей длине фасада овальными залами. Они неприметно стекали в боковые закругления каменной лестницы, а спускавшиеся к пруду земляные ступеньки террасы повторяли все тот же рисунок овала, органично вписывая все здание в холмистый рельеф местности.

План небольшого регулярного парка в духе французского классицизма, правда, несколько смягченный избранным лейтмотивом — плавными линиями, Старов присовокупил к проекту усадьбы. Однако тут уже начинается творчество Болотова.

По должности управителя богородицких земель он, естественно, интересовался ходом строительства и, захваченный старовским замыслом ансамбля, согласился возглавить разбивку парка. Судьба посылала

ему удобный случай реализовать давно выношенные им идеи художественного вмешательства в пейзаж на больших территориях в комплексе с их хозяйственным использованием.

Предложенный Старовым проект для этой цели не годился, и Болотов смело пошел собственным путем, предвосхитив 250 лет назад одну из важнейших задач современной ландшафтной архитектуры.

Охрана и приумножение природных богатств страны — направление, начатое Петром Первым и подхваченное затем Ломоносовым и Нартовым. Именно так расценивал свои парковые «затеи» Андрей Тимофеевич Болотов.

Еще до знакомства с книгой видного теоретика садово-парковой архитектуры датчанина Христиана Гиршвельда он пришел к отрицанию регулярного стиля, непригодного, по его разумению, для русской усадьбы средней полосы.

Гиршвельда Болотов уважал, но отнюдь не склонен был механически переносить рекомендации его на отечественную почву, полагая необходимым «добавлять нечто от себя».

«Мы находимся ныне в таком состоянии, — писал он, — что во многих вещах не уступаем нимало народам иностранным, а с некоторыми в иных вещах можем и спорить в преимуществах».

Болотовский парк — наглядное тому доказательство.

...Увязая в сугробах, день за днем без устали обходил стареющий ученый окрестности, намечая, «чему бы которое место способнее и где обделять сообразно с новым видом бугры и горы» для задуманных им торжественных утренних, полуденных и вечерних сцен.

Едва сошел снег, на расчищенные площадки начали свозить деревья. По плану Болотова их предстояло высадить несколько тысяч. За весну не успелись. И Андрей Тимофеевич, которому не терпелось скорее дать парку «образование и вид», отважился продолжить начатое летом, впервые, быть может, осуществив посадку деревьев с уже развернутыми листочками.

Рискованное предприятие удалось благодаря обильному и умелому поливу. Причем Болотова не смутило отсутствие поблизости водных источников, и он, проявив себя также отличным дендрологом, заставил работать грунтовые воды.

Мало того, Андрей Тимофеевич загорелся мыслью создать в парке уникальную водную систему с террасными прудами и водопадом. Отыскав в двух верстах отсюда маленький ручеек, он повел его русло по косягу к нужной отметке, придумал хитроумные перепуски. Грунт оказался слишком рыхлым, вода уходила в землю. Но Болотов и тут не отступился. Залежи синей глины подсказали ему оригинальное решение — выложить тонкими прочными пластинами дно и стенки ручейка, а сверху присыпать песком. Водовод получил надежное ложе и вместе с тем естественный вид...

Строительство парка продолжалось не один год. Но уже летом 1774 года холмистые берега Большого богородицкого пруда оделись на-

рядными рощами и перелесками, которые чередовались с солнечными полянами. В трех искусственных прудах вода была настолько чистой, что там заплескалась даже серебристая горная форель и другая редкая рыба, разводима Болотовым. За дамбой нижнего пруда, украшенной молодыми липками, выросло несколько насыпных островков, их связали поэтичные мостики. Искрящийся алмазной пылью каскад водопадов с разноцветным, как в Петергофе, дном довершал пейзаж вокруг Каменного павильона.

Сам павильон Андрей Тимофеевич воздвиг тем же летом, руководя раскопками Песчаной горы. В ее плотных, цветных отложениях он распорядился вырубить сводчатые пещеры с колоннами в красных прожилках, а снаружи велел разбросать в художественном беспорядке глыбы пещаника, так что они напоминали какую-то древнюю «руину».

Август и сентябрь Болотов посвятил еще одной парковой жемчужине — гроту. Отвергнув традиционный наземный павильон, изобретательный зодчий велел опустить в старый погреб на месте сгоревшей за год до того Поповской слободы четырехугольный сруб, прикрытый небольшим восьмиугольным сводом. Сырую штукатурку стен усеяли толченой слюдой, ракушками и посеребренными орехами. Все это покрыли лаком. Световой эффект получился неописуемым. Вдобавок для большей «куриозности» в фонарь свода вмонтировали своеобразный перископ, позволявший посетителям любоваться городом и Большим прудом.

Была припасена в гроте и шутливая выдумка — потайные зеркала при двух боковых входах. Попав внутрь, гость видел направляющегося ему навстречу человека, снимал шляпу, чтобы раскланяться, и... оборачивался, смущенный дружным хохотом сопровождающих, довольных удавшимся розыгрышем.

Гуляя в парке, можно было пройти мимо грота и не догадаться о его существовании — перед глазами зеленел лишь невинный холмик с мраморным бюстом на нем.

Андрей Тимофеевич на том, однако, не успокоился и за неделю смастерил беседку в форме триумфальной арки, раскрасив ее с помощью сына и маляра под старый камень. Неожиданно выяснилось, что произнесенное шепотом в 80 шагах от беседки слово повторяется в ней несколько секунд подряд. За столь выдающиеся акустические свойства беседка получила прозвище «Жилище Эхи», а прилегающая к ней лощинка была названа «Эхонической».

И, наконец, заброшенный подземный ход, который некогда вел из крепости к пруду, Болотов тоже превратил в колоритную деталь своего паркового действия.

Содружество рукотворной и нерукотворной природы ошеломляло неистощимым разнообразием, и перед взором гуляющих непрерывно сменялись живописные картины: «меланхолические» либо «смеющиеся» сцены.

Скажем, по узкой, извилистой тропинке вы поднимались к укромному местечку в лесной чаще. Черная пирамида «наподобие некоторого надгробия» с соответствующими надписями по краям настраивала на грустный лад, навевая мысли о бренности всего земного. Но вот еще несколько шагов сквозь заросли — и «смеющаяся сцена» приветствовала вас идиллическими лужайками отлогого склона холма, «изгибами и мысочками» тенистых опушек Церериной рощи багряной россыпью цветов на изумрудном ковре террас.

Центральные аллеи парка прорубались широкими, удобными для езды в линейках и даже в каретах. А рядом манил таинственный сумрак лабиринта боковых аллей и тропинок, в конце которых непременно открывался какой-нибудь привлекательный вид или очередной аттракцион с сюрпризом, типа распространенной тогда «улитки».

Красивый бугорок из дерна вроде бы не сулил никакого подвоха. Гости подходили, взбирались на него, и в этот момент по неприметному знаку устроителя садовник приводил в действие потайной шлюз. Вода окружала «улитку» сплошным озерцом, обливала собравшихся, вызывая испуганные возгласы, шутки, смех. Потом перебрасывались мостки, и «пленники» могли благополучно выбраться на сухое место.

Таким был Богородицкий парк в лучшую свою пору, сразу после создания. С отъездом Болотова в середине 1790-х годов он лишился настоящего присмотра и постепенно пришел в упадок. Толстой видел парк уже без большей части его интереснейших сооружений, водоподов, прудов.

* *
*

В истории русской архитектуры значились печальные строки: дворец в Богородицке существовал до 1941 года. Гитлеровцы оставили после себя лишь зияющую оконными провалами обгоревшую коробку. Мало что осталось от парка... Похоже было, навсегда исчезает с лица земли краса и гордость здешнего края.

Спасение явилось от самих богородчан. Художник П. Кобяков, директор местного краеведческого музея Б. Акользин, почетный гражданин города персональный пенсионер, в то время партийный работник С. Потапов и многие другие развернули кампанию за восстановление дворца и парка. Нашлись добровольные помощники в Москве и Ленинграде. Энтузиастов поддержали горком партии, горком комсомола, работники Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Надо было видеть, как в любую погоду трудились на субботниках горожане — от мала до велика, как шаг за шагом уточняли расположение каждой постройки, каждого дерева. Архитектор-искусствовед

Л. Тьдман, его коллега Е. Караваева, старейший ландшафтный архитектор Л. М. Коржев, историк Н. Малеванов откликнулись на благородный порыв богородчан. Они просиживали в архивах, тщательно изучая сохранившиеся болотовские чертежи и рисунки усадьбы, приезжали в отпуск и на выходные дни в Богородицк и брались за кирки и лопаты наравне с шахтерами, служащими, учащимися школ и ПТУ.

Большая кропотливая работа продолжалась не год и не два... И поднялся из руин старовский дворец. Отстроена до основания разрушенная въездная башня-колокольня XVIII века, вернув усадьбе прежний облик. Проведена реставрация фасада Казанской церкви.

Почти все это сделано руками энтузиастов, на общественных началах — случай беспрецедентный, если учесть объем и сложность восстановительных работ. Не забыт даже «кирпичный паркет» в подвале винного погреба. Сотрудники музея-усадьбы мечтают наладить остроумные приспособления бывшего кухонного ледника...

Да, теперь в возрожденном дворце музей, а у фигурных ворот ограды — «охранная грамота» государства.

С пронзительной явственностью оживает листовая графика Андрея Болотова в контурах Березовой и Липовой аллей, в намечающейся уже цепочке будущих тугих баскетов и в пышных цветочных клумбах перед крыльцом. Санитарная расчистка сотен гектаров леса, укрепление оползней и корней наиболее старых деревьев, новая Церерина роца — все это предмет законной гордости богородчан. Однако полное воссоздание парка с его водной системой и всевозможными сооружениями еще впереди. И потребует оно серьезных совместных усилий специалистов разного профиля.

Еще ждут достойной экспозиции трогательно выбеленные стены дворцовых покоев с сиротливо притулившейся по углам случайной мебелью. Ждут бригад квалифицированных художников-реставраторов бездействующие леса под сводами Казанской церкви, где сохранились остатки ценнейших старинных фресок.

Ну, а разве не заслуживает восстановления изящное здание художественной школы и библиотеки искусств, возведенное чуть пониже церкви в 1778 году по проекту архитектора Сокольниковца? То была одна из первых в России школ для «конюховых детей»; в соседнем же флигеле Андрей Тимофеевич организовал опять-таки первый в России детский любительский театр и сам выступал его режиссером, драматургом, декоратором и актером.

Стоит, наверное, пожалеть и о воздушном домике в стиле «шале» в дальнем конце парка, где в первую мировую войну С. А. Бобринская открыла бесплатные курсы медсестер.

Все это наше прошлое, наша память...



Сегодня из Москвы в Богородицк добираться несложно. За Тулой оживленное шоссе передает эстафету добротному грунтовому проселку, петляющему среди совхозных полей и новостроек. Можно отважиться пуститься в путь и по железной дороге, с пересадкой до маленькой станции, носящей красноречивое название: «Жданки». Местные жители шутят, что отсюда ходит «самый медленный в мире поезд».

Поезд этот и впрямь тащится шагом, не поспевая за будничным ритмом богородицкой жизни. С утра до ночи громяхают через центральную площадь грузовики, разрываются телефоны в кабинетах шахтоуправления. На Доске почета района фотографии передовиков, известных далеко за пределами области.

День первого секретаря Богородицкого горкома ВЛКСМ расписан по минутам. Но нежные синьки проекта реставрации парка он держит на видном месте и ориентируется в них как заправский специалист. Обращаться к ним ему приходится постоянно. Вот и сейчас он увлеченно водит пальцем по тонкой паутинке линий, совещааясь с членами бюро, где прорезать осенью заросли, вырубать ненужное. (Мемориальный парк требует неустанного ухода, «полировки», особой меры художественного чутья и вкуса.)

Все это освоили за годы шефства над парком городские комсомольцы. У каждой организации свой участок работ. Уже ближе к вечеру нам встретились на центральной аллее вихрастые подростки из СПТУ-30. Они несли лопаты и носилки, направляясь после занятий сажать по реставрационному плану березы. Видели мы также школьников, старательно поливавших в жару молодые деревца.

Ребята сами же охраняют парк (больше, в сущности, некому), следят за порядком. Бывало, подгулявшие компании выламывали металлические прутья ограды, жгли на полянах костры, усеивали траву пустыми бутылками. Теперь такое случается все реже. Общее детище города — возрожденный болотовский парк исподволь перевоспитывает даже самых «трудновоспитуемых», незримо влияя на их сознание, совесть.

И еще об одной молодежной инициативе. В Казанской церкви, когда закончится ее реставрация, городские комсомольцы решили устроить своими силами маленький концертный зал, а в башне открыть библиотеку.

Многолюдно вечерами в городском Доме культуры, и звуки музыки долетают до притихших парковых аллей. По воскресеньям сюда приходят семьями и, любуясь колышущимся отражением белых стен дворца в темной воде Большого пруда, вспоминают, как «всем миром» подымали со дна его камни, как штурмовали завалы битого кирпича и арматуры...

Не только невидимую ранее точку, словно испускающую лучи улиц Богородицка, открыл болотовским землякам воссозданный дворец. Тайную пульсирующую точку душевного родства и сопричастности чуду родного города ощутили они в себе самих, приложив руку к тому, чтобы чудо это обрело былую красоту и соразмерность.

Не случайно горожане говорят о Болотове просто — как о близком и понятном человеке. Любой мальчишка здесь знает его «в лицо».

16 октября богородчане соберутся в парке отметить 150-летие со дня смерти А. Т. Болотова. Съедутся гости из Москвы, Ленинграда, Тулы. Жители города радостно поделятся с ними своим сокровенным достоянием.

Нелегко завоеванное богатство их отныне принадлежит нам всем.

Потому надо помочь землякам ученого и писателя довершить начатое, памятуя слова Андрея Тимофеевича Болотова: «Я служил не какому-то Бобринскому, а России».

1983.

ДЕНЬ — И ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ

СИБИРСКИМИ ДОРОГАМИ ДЕКАБРИСТОВ

Настоящее житейское поприще наше началось со вступлением в Сибирь, где мы призваны словом и примером служить делу, которому себя посвятили.

М. С. Лукин

1

Летом 1830 года из Читы в Петровский Завод двигалась странная процессия. В голове и хвосте ее равнодушно пылило по взводу солдат, а в середине шагали люди, в которых трудно было признать блестящих «детей двенадцатого года».

Шли они в новую тюрьму. Останавливаться в деревнях запрещалось, на ночлег и дневки устраивались в юртах. Подводчиками и провожатыми тоже наняли бурятов. Трогаясь до рассвета; обычно отмеряли за день 20—25 верст. Однако 600 километров — путь неблизкий, и шли месяц с лишком, забыв про усталость при виде вольного простора, по которому так стосковались в казематах. И природа, словно чувствуя это, да-

рила им суровое великолепие забайкальских ландшафтов, ароматы степных трав и цветов.

Первым шагал Завалишин, в огромной шляпе и черном квакерском плаще собственного изобретения. В одной руке — палка выше головы (он был мал ростом), в другой — раскрытая книга. Далее следовали Якушкин в нелепой курточке, Волконский в женской кацавейке и остальные: кто в долгополых пономарских сюртуках, кто в испанских мантиях, иные в блузах.

Начальство боялось контактов «государственных преступников» с местным населением, и подобный горестный маскарад его вполне устраивал. Однако и тогда, и раньше, и потом все меры предосторожности оказались напрасны. И если на Сенатской площади декабристам, по мысли Герцена, «не хватало народа», то они нашли к нему дорогу в Сибири, оставив здесь щедрое наследство петрашевцам, народовольцам, большевикам.

2

Следствие. Приговор. Казнь. Каторга. Поселение. Точка отсчета — Сенатская площадь, хотя по воле случая встать на ней под картечь довелось едва ли половине из осужденных.

День на Сенатской и тридцать лет в Сибири! День — и целая жизнь...

Они вступали в нее подавленные, страшась неизвестности, губельной «тюрьмы без стен», куда под похоронный звон колокольных везли их скованными летом двадцать шестого жандармские кибитки.

Увы, не было с ними тогда двух «сибиряков», влюбленных в этот край и способных открыть им глаза на его истинную сущность. Один, Гавриил Степанович Батеньков, правитель дел Сибирского комитета при Сперанском и Аракчееве, даровитый военный инженер, бесстрашно воевавший с Наполеоном, всесторонне образованный философ, знаток египетских древностей, соединился со своими товарищами в Сибири лишь спустя двадцать лет после суда над декабристами, «забытый» в одиночке Алексеевского равелина, где он почти разучился говорить. В случайно сохранившейся толстой тюремной тетради узника, среди обрывков религиозных, философских и исторических мыслей можно прочесть о влиянии народных масс на развитие революционной идеологии в России, отставшей «лет на тысячу» от европейских стран, о необходимости «учреждения советов», то есть усиления коллегиального начала в управлении страной. И часто снилось Батенькову, что сбылась заветная мечта его молодости и он плывет с Шелиховым вдоль северо-восточного побережья Сибири...

Земляк Батенькова Владимир Иванович Штейнгель мичманом участвовал в освоении северных рубежей России, открытии русской Америки, водил знакомство с Крузенштерном, Беллинсгаузеном, Резановым, мужественно выступал против произвола сибирских сатрапов и за срав-

нительно короткий срок пребывания на посту начальника Иркутского адмиралтейства заслужил любовное прозвище «байкальского адмирала». Теперь его привезли сюда в цепях с Аланских островов. К своим он «запоздал» на два года и уже не смог быть свидетелем того, как провожала их Центральная Россия и встречала Сибирь.

Но и без этих двоих очень скоро, еще в Нерчинских рудниках, пришел к декабристам иной взгляд на вещи. «И в Сибири есть солнце», — скажет незадолго до мучительной смерти Иван Сухинов, участник восстания Черниговского полка, которого вместе с товарищами более полутора лет гнали на каторгу в партии уголовных пешими этапами, «по канату», на железной палке вместо наручников и который, поклявшись «всеми средствами вредить правительству», попытается организовать в рудниках массовый вооруженный побег, вернее, новое восстание, воспользовавшись творившейся поначалу неразберихой.

А она была такая, что для водворения декабристов в Сибири потребовался созданный по высочайшему повелению специальный секретный комитет. Ссылали ведь, не ведая толком даже сибирской географии, путая Олекминск с Омском. Под любым пунктом на карте разумели город, когда там, случалось, не было и десятка изб. Местные власти совершенно не готовы были принять разом столь многочисленных «бунтовщиков» и не поспевали со строительством новых острогов...

Тем временем первая из жен и сестер декабристов — Екатерина Ивановна Трубецкая, урожденная графиня Лаваль, — на другой день после отбытия мужа отправляется вослед за ним. Начинается воспетая Некрасовым героическая сибирская эпопея одиннадцати русских женщин, разных по социальному положению и материальной обеспеченности, по характеру и уровню культуры, но навек уравнившихся в завидном звании декабристок, снискав благодарную любовь и уважение Отечества.

3

Из «Воспоминаний Бестужевых»: «Всех семерых заперли в темную, грязную, вонючую конуру... Три рода насекомых, питающихся кровью и плотью несчастных, заключенников, буквально покрывали их с головы до ног..., лишали сна, лишали сил, необходимых для тяжелой работы в глубоких рудниках, так что они, промыслив скипидару, натирали им все тело, и несмотря на то, что их тело горело, как в огне, что их кожа сходила лоскутками, — голодные тунеядцы не оставляли своих жертв. О их пище, о их жизни, о грубом, унижительном обращении с ними я уже не говорю...»

Из «Записок» М. Н. Волконской: «По окончании свидания я пошла устроиться в крестьянской избе, где поместилась Каташа (Е. И. Трубецкая. — Ю. О.); она была до того тесна, что, когда я ложилась на полу на своем матраце, голова касалась стены, а ноги упирались в дверь. Печь

дымила, и ее нельзя было топить, когда на дворе бывало ветрено: окна были без стекол, их заменяла слюда».

Время избирательно. Оно не сохранило нам «каторжных нор» декабристов, подробно запечатленных рядом с портретной галереей «союзников-друзей» на рисунках и акварелях Николая Бестужева. Единственное здание в Чите, помнящее этих людей, — старинная Михайлово-Архангельская церковь с некогда чешуйчатыми куполами. В конце прошлого века ее обшили раскрашенными под кирпич досками, видоизменяли еще неоднократно ремонтами внутри и снаружи. Однако уже первый беглый взгляд, брошенный на потемневшие бревенчатые стены, позволяет представить торопившихся по праздникам к высоким воротам мужчин из близлежащего острога и женщин — с «Дамской улицы» напротив. При желании можно вообразить и то, как в 1828 году венчались в «церкви декабристов» Анненковы, а в 1839-м — вышедший на поселение Завалишин и дочь горного чиновника Смольянинова. Могила Аполлинарии Завалишиной — также в ограде церкви, подле могилы дочери Волконских Софьи.

«Заключенники» болели, у некоторых началось кровохарканье, открылись полученные в сражениях раны. Страшная скученность и постоянный кандалный звон (оковы снимали с них лишь в церкви и в бане) доводили измученных людей до умопомрачения. Но было и другое. «Каземат нас соединил вместе, дал нам опору друг в друге и, наконец, через наших ангелов-спасителей, дам, соединил нас с тем миром, от которого навсегда мы были оторваны политической смертью... дал нам охоту жить..., материальные средства к существованию и доставил моральную пищу для духовной нашей жизни». Это слова Михаила Бестужева.

Они с честью выдержали первое и оттого самое трудное испытание каторгой, выработали там особый нравственный климат и кодекс поведения, от которых не отступят потом. И имели право подписаться под ответом Александра Одоевского Пушкину: «Но будь спокоен, бард: цепями, своей судьбой гордимся мы...»

Новый, 1828 год в Читинском остроге встречали уже свыше восьмидесяти человек (в Забайкалье отбывали наказание 93 декабриста, всего же сибирскую каторгу, поселение либо службу в крепостных батальонах прошли около 115 осужденных по делу 14 декабря). Страх расщедоточения опасных «заговорщиков» сыграл с царем злую шутку, ибо в казематах Читы собрались вместе члены всех тайных обществ. Вчерашние аристократы, генералы, полковники и бедные армейские офицеры слились в одну семью, делились поровну продуктами, одеждой, по очереди читали появившиеся книги. Выжить можно было только на артельных началах, и в остроге образовались свои мастерские: столярная, слесарная, сапожная, швейная. А. П. Беляев сообщает, что лучшим закройщиком оказался Бобрищев-Пушкин, усвоивший эту специальность по математическим расчетам. Нашлись также свои искусные повара, парикмахеры. Верно служили товарищам золотые руки братьев Бестужевых. Пло-

доносил тюремный огород, прообраз будущих сельскохозяйственных начинаний декабристов в Сибири. Непрерывно пополнявшаяся касса Малой артели обеспечивала каждому вне зависимости от размеров его паевого взноса относительно сносную жизнь на весь срок поселения...

Они знали минуты отчаяния и тоски, сомнения не раз закрадывались к ним в сердце, однако они умели бороться с собственными слабостями, не пуская их дальше бумаги, чтобы, по выражению бессменного казначея Малой артели И. И. Пуцина, держать себя, как «гвардия между слыльными».

Принудительные работы постепенно принимали формальный характер, увеличивая часы досуга, а вот право писать по-прежнему приходилось завоевывать с боем. Завалишин упоминает, что «вынужден был писать каким-то кусочком свинца на бумажках от содовых порошков и прятать их за корешок переплета книг». Эти-то «бумажки» и разрастутся затем в глубокую, разностороннюю сибирскую публицистику декабристов.

Не возбранялись музыкальные занятия; и казематские концерты — хоровые, струнным квартетом и при участии гитар, флейты, чекана — привлекали к частоколу острога толпу читинцев. Необычное это, должно быть, было зрелище: пурга, голые сопки, вечерний мрак, сонные часовые инвалидной команды и — пленительные мелодии, льющияся на очоленевших слушателей из-под покатоной крыши тюремного барака (за отсутствием просторного помещения музицировали обыкновенно на чердаке).

Протоптанными в траве и в снегу «тропинками любви» приходили сюда послушать концерты декабристов дамы, предварительно наколов дома дров и натаскав воды из проруби. Правда, благодаря артелям, им теперь уже реже надо было кормить, обшивать, обстирывать и лечить своих мужей, их товарищей — и все с неизменно ободряющей улыбкой, — однако осталась необходимость писать за узников по семь-десять писем на дню и воевать с властями, добываясь улучшения тюремных условий. Вскоре жен разрешили допускать на занятия каторжной «академии», где образованнейшие специалисты в военных и гражданских областях читали доклады, лекции, обучали друг друга и всех желающих наукам и навыкам, которые пригодились бы в последующей долгой поселенческой жизни.

По этим первым коллективным формам тюремного быта ориентировали свое существование на каторге и в ссылке поколения преемников дворянских революционеров. Декабристы же, оказавшись «в полном составе», конечно, прежде всего обратились к урокам движения, получив, наконец, счастливую возможность все проанализировать и сопоставить, разобраться в ошибках и предательствах, обсудить стратегию и тактику тайных обществ, поведение каждого на допросах.

Сколько отважных сердец освободилось в этих доверительных беседах от бремени стыда за колебания и растерянность, проявленные

в ответственные моменты восстания, в ходе затяжного следствия! И, наверное, только после Читы несостоявшийся «диктатор» князь Трубецкой впервые с того рокового дня почувствовал некоторое облегчение...

Решающий день их жизни, день великих надежд и великих потерь, они совместными усилиями восстанавливали в памяти до мельчайших деталей, снова и снова переносясь на заснеженную петербургскую площадь. И опять им виделось, как бестрепетной рукой раздает Щепин-Ростовский сабельные удары командирам, пытающимся удержать в казармах мятежный Московский полк. Как медленно валится с лошади сраженный пулей Каховского генерал-губернатор Северной Пальмиры граф Милорадович. Как летит из толпы полено в спину второму «умиротворителю» москвичей, генералу Воинову. И как бледный Николай I молча подается назад перед недвусмысленными угрозами «черни», тучами скапливающейся в тылу и на флангах правительственных войск...

«Веселый час свободы!» — воскликнул по другому поводу их поэт Вильгельм Кюхельбекер. Но тогда, на площади, этот час наступил. И пусть он был краток, декабристы прожили с ним десятилетия сибирского заточения — и победили. А пока они сообщая рассказывали тем, кому не довелось выйти с ними на Сенатскую, про бесшабашную браваду Александра Бестужева, на ледяном ветру, в одном парадном мундире точившего саблю о гранит Медного всадника. Вспоминали беглый огонь четкого каре по атакующей конной гвардии и перебежчиков, просивших их продержаться до вечера...

4

Летом в Петровск-Забайкальский приезжает много туристов. И уже на перроне станции, сохранившей прежнее название — Петровский Завод, встречают барельефы декабристов.

— И в самом городе, и в рабочих поселках далеко в тайге у нас сегодня нет проблемы школ, больниц, клубов, библиотек, и это тоже своеобразное продолжение декабристских традиций, — говорили нам в горкоме партии.

Да, память декабристов жива здесь, причем не только в мозаичном панно на новом здании вокзала и художественной выставке — в старом, не только в красивой стеле на декабристском кладбище и добротном музее в реконструированном доме Трубецкой (еще десять лет назад всего этого здесь не было), но и в городском профтехучилище, основанном Иваном Ивановичем Горбачевским. Тогда оно называлось народным и открылось на доходы от первой в России потребительской кооперации, созданной в 1864 году Горбачевским, который по истечении срока ссылки не вернулся на родину, где у него никого не осталось, а предпочел доживать свои дни в Петровском.

Этот одинокий, задумчивый человек, бывший подпоручик артиллерии, один из организаторов и руководителей Общества соединенных славян, чтобы заработать на пропитание, взялся за извоз, мыловарение, мельничное дело и притом неустанно помогал всем нуждающимся, построил несколько домов и отдал их беднякам. Окрестные крестьяне и заводские рабочие шли к нему за советом, защитой. Авторитет Горбачевского был настолько высок, что его назначили мировым посредником Петровского горного округа.

Еще в остроге он с товарищами устроил казематскую школу для детей местных жителей и ссыльных. Одних детей учили грамоте, других готовили к поступлению в уездные училища и даже в высшие учебные заведения Петербурга. Всех детей приобщали к труду и ремеслам, кормили их в тюрьме, покупали им одежду и обувь. Когда декабристы разъехались в разные стороны на поселение, Иван Иванович продолжал вести занятия в школе.

Из книг, оставленных ему перед отъездом товарищами, Горбачевский составил единственную тогда в Петровском Заводе публичную библиотеку и сам стал ее первым библиотекарем. Слава о ней распространилась по всему Забайкалью, чего, к сожалению, нельзя сказать о той библиотеке, что располагается сейчас в доме Горбачевского и носит его имя, — зимой она закрыта, поскольку дом нуждается в паровом отоплении и капитальном ремонте.

Пока был жив Горбачевский, в склепе Александрины Муравьевой, «первой жертвы» Петровского Завода, которая привезла декабристам пушкинское послание «В Сибирь», 37 лет не гасла свеча. Сегодня декабристский некрополь в Петровском выглядит запущенным. Впрочем, не в лучшем состоянии сохраняются могилы декабристов на бывшем Амурском кладбище в Иркутске, куда перенесены из зоны затопления останки Артамона Муравьева и Юшневского. В Чите, в ограде «церкви декабристов», служившей одно время то складом, то сыпным пунктом, то студенческим общежитием, разбили тогда же так до конца и не починенную плиту на могиле дочери Волконских. Без каких-либо опознавательных знаков зарастают сорной травой на косогоре потрескавшиеся, полуистершиеся могильные плиты В. Ф. Раевского, его жены и сына в деревне Олонки под Иркутском...

Но вернемся в Петровск-Забайкальский. Современный город давно уже обтекает некогда окраинное кладбище, откуда друзья чуть ли не силой увели в один день поседевшего от горя Никиту Муравьева. С Луиной сопки пробую подыскать на территории сегодняшнего завода место допотопной домне, которую Н. Бестужев с декабристом К. Торсоном сумели перевести с ручного дутья на механизированное и вдвое повысить ее суточную производительность, а до этого за два дня восстановили не работавшую более десяти лет водяную пыльную мельницу.

«...Фабрика, где плавят железо, — совершенный ад. Тут ни днем, ни ночью нет покоя, монотонный, постоянный стук молотка никогда не

прекращается, кругом черная пыль от железа». Таким предстал Петровский Завод декабристам. И почему бы не увековечить их память также и за заводскими воротами, в почти музейном уголке старинного литейного цеха, в котором они, забывая о собственных страданиях, всячески старались облегчить изнурительный труд сотен каторжан?

Страдания же декабристов в Петровском были, пожалуй, как нигде, велики. Более просторная тюрьма оказалась «в тысячу раз хуже, нежели в Чите». Возведенная на болоте, она не успела просохнуть, плесень и сырость гнездились в деревянных стенах. Печи не давали тепла уже в сентябре. Вдобавок в комнатах «забыли» прорубить окна.

И все же не только и не столько потому их последний каземат подвешивал на «соузников» особенно удручающе. Тяготы и лишения они привыкли сносить сточески. Хоть и крохотные, под потолком, окна в результате самоотверженных усилий жен в конце концов прорубят. На четвертом году заключения с декабристов снимут цепи, и Николай Бестужев сделает из них кольца на память каждому. Он будет продолжать совершенствовать изобретенный им оригинальный морской хронометр и с помощью простейших инструментов мастерить хитроумные часы в подарок друзьям и дамам, игрушки — детям. Еще шире развернет здесь свою легендарную врачебную деятельность Ф. Б. Вольф, обзаведясь добросовестными фельдшерами в лице А. Муравьева, Александрины и М. Н. Волконской, а затем примется за химический анализ окрестных минеральных источников.

Словом, всяк будет при деле. Расставание, и со многими навсегда, — вот что окажется тяжелее всего. Последние декабристы уедут из Петровского в 1839 году, и ровно через тридцать лет никто из них не проводит в последний путь Ивана Горбачевского. Его похоронят над обрывом у пруда, как он просил, чтобы был виден дом, в котором Горбачевский жил и умер. Преданный друг и ученик водрузит на могиле большой чугунный крест, и поныне открывающийся взгляду со всех концов старого города.

...На поселении они будут писать друг другу трогательные письма, интересуясь подробностями жизни товарищей и даже прилагая к письмам рисунки своих скромных пристанищ. Эти путеводные нити сквозь толщу времени оказывают неоценимую услугу, когда, постояв в Урике у могилы Никиты Муравьева, расхлябанной поселковой улицей выходишь к предполагаемому дому Лунина с цифрой «1836» на фронтоне. Или когда, продравшись сквозь заросли дикой желтой акации на месте знаменитого «камчатника» Волконских в Усть-Куде, присядешь на скамью, вырубленную Сергеем Григорьевичем в песчанике над Ангарой...

Есть, однако, и другие следы декабристов — то, что перешло от них в Сибири на пользу людям: не известные здесь ранее цветники, палисадники, научное хлебопашество и агротехника, бестужевская компания по разведению мериносов, бечасновские маслобойни, глиняные и песчаные промыслы Вадковского, которые тот безвозмездно передал крестьян-

ской общине, но без права личного обогащения ее членов. Разглядывая в школьном музее декабристов в Олонках собственноручно снятую Владимиром Федосеевичем Раевским карту его земельных угодий — 40 десятин, думаешь о тех сокровенных проектах развития экономики и сельского хозяйства Сибири, разумного использования ее несметных богатств и охраны природы, что держал он под спудом, подобно прочим ссыльным декабристам, выполняя по просьбе односельчан обязанности подрядчика и, помимо всего остального, исправно снабжая Иркутск арбузами. Точно так же, как Никита Муравьев, обрабатывавший на поселении 50 десятин земли и вкладывавший душу в рыболовные артели. Все это были конкретные примеры рационального хозяйствования, свободного от капиталистической эксплуатации и вместе с тем выгодного.

5

Изгибы бывшей Володимирской, затем Ланинской, а ныне улицы Декабрьских Событий еще хранят кое-где приметы старого Иркутска. Вот только давно уж разобрали за ветхостью Московские ворота, через которые въезжали этой улицей в столицу Восточной Сибири Радищев, декабристы, Чехов.

Неподалеку отсюда блестит на солнце застекленный балкон «фонариком» мемориального дома Трубецких. За ним голубеет свежей краской бережно собранный по бревнышку дом Волконских, новый филиал Иркутского музея декабристов.

Этот классический деревянный ампир в окружении почти «задевающих» окнами тротуар закопченных строений, это «пламя» благородной мебели, перенесенной из петербургских и московских гостиных, эти изящные вышивки Екатерины Ивановны Трубецкой и барственный чубук Сергея Григорьевича Волконского являют при ближайшем рассмотрении свой особый смысл, чуждый обывательским пересудам.

Здесь не просто жили большие семьи двух ссыльных князей, с помощью богатства и влияния знатной родни устроившиеся сообразно собственным вкусам и привычкам. Здесь наперекор тягостным обстоятельствам находились центры притяжения рассеянных в таежной глухомани декабристов, которые, пользуясь любым предлогом, чтобы навестись в Иркутск, душой отогревались в домах Трубецких и Волконских, получали через них письма родных, книги, лекарства, деньги, узнавали последние новости. Эти дома стали также центрами притяжения либеральной интеллигенции края, подлинными очагами культуры.

Задумав возродить в наши дни музыкально-литературные салоны Трубецких и Волконских, сотрудники Дома-музея волновались: приживутся ли, пойдет ли молодежь на эти вечера без танцев? Теперь подобные сомнения позади. Раз в месяц в гостиной гаснет электрический свет, зажигаются свечи, и, пробравшись между тесно сидящими и стоящими,

преподаватели городского училища искусств, солисты Иркутской филармонии выходят к роялю, который Мария Николаевна Волконская доставила в рыбацком баркасе через беспокойный Байкал. И вновь, как тогда, звучат здесь произведения Верди, Шопена, Алябьева, Глинки.

А еще на этих вечерах встречаются поэты, прозаики, историки. Однажды собравшиеся в гостиной услышали рассказ местного коллекционера о рядовом Московского полка Попрядухе, участнике восстания на Сенатской площади, сосланном в Сибирь. Там он познакомился с Трубецким и получил от него в подарок парные вазы и зеркало. Потомки солдата-декабриста сберегли их, и вот под аплодисменты гостей «ваза Трубецкого» заняла свое место в экспозиции музея.

Поиск вещей слышных декабристов, начатый еще на заре Советской власти, не прекращается. Известный ленинградский собиратель В. Грусланов не остался глух и к письмам из Иркутска. Нелегко было ему расстаться с книгами, на которых автографы С. Г. Волконского, тем более что обнаружил он их в Берлине 45-го в бункере среди награбленных гитлеровцами на оккупированных территориях ценностей и проследил затем их судьбу: книги эти сопровождали семью декабриста в сибирском изгнании, а впоследствии попали в украинское имение Волконских-Кочубеев...

Из Ленинграда поступила шкатулка Дмитрия Завалишина с его эмалевым портретом на крышке работы художника Тереховича, которая в 1823 году проделала в каюте смелого морского офицера кругосветное плавание. Шкатулка эта — дар внука декабриста Б. Еропкина. Он не забыл также Читу, где его дед томился в каземате, жил на поселении и откуда в 1863 году — случай беспрецедентный — был выслан (!) как «слишком опасный для Сибири»... в Москву. С собой Дмитрий Ириархович увозил медальон, в котором переплелись двумя колечками волосы его рано умершей жены и первенца-сына.

Вещи декабристов. Как много говорят иные из них нашей памяти и воображению! Два стула сибирской березы в доме Трубецких рядом с мебелью красного дерева. На спинках — резьба местного мастера в виде рожка. Не того ли, фельдъегерского, который расчищал путь несущимся вскачь тройкам с «государственными преступниками»? Вышитая подушечка Камиллы Ивашевой — ее спасли в ленинградской блокаду, когда в «буржуйках» горело все, что могло дать замерзающим людям хоть каплю тепла. Набивку — жалкие клочки войлока — и те пришлось сжечь, а чехол уберегли... Еще одна фамильная шкатулка, на сей раз Волконских. Она принадлежала Л. Н. Толстому и была подарена иркутскому Дому-музею декабристов писательницей Л. Либединской.

...Крутая, поскрипывающая лесенка ведет в мезонин, где традиционное нагромождение фондовых материалов теснит за столами научных сотрудников музея. Его новый директор, Евгений Александрович Ячменев, молод, энергичен и скрывает под корректной сдержанностью страсть подлинного энтузиаста. Дом этот он полюбил еще в студенче-

скую пору, а когда служил в армии здесь же, в Иркутске, весьма своеобразно использовал заветные увольнительные — являлся прямо в солдатской форме в музей и водил экскурсии.

Студентом Ячменев натолкнулся на старую подшивку «Огонька» и в номере от 10 января 1926 года прочел короткую заметку безымянного спецкора о том, что комиссией по подготовке юбилея декабристов приобретены у сибиряка-старожилы два стула и картина из бывшего Дома Трубецких. На фотографии в журнале стояли у стены знакомые стулья с резными спинками, намекая на что-то символическими рождками, а над ними висел небольшой, плохо различимый пейзаж в раме.

В музее его не было. Неужели исчез бесследно? По выцветшей фотографии, которую он увеличил, Ячменев довольно точно «вычислил» размеры картины. Несколько прояснился и изображенный на полотне вид. Переписка декабристов и архивные документы помогли установить: это работа дочери Трубецкого Александры, способной художницы-любительницы, выразившей в ней свое восприятие Забайкалья. Шли годы. Ячменев не бросал поисков утраченной картины и нашел-таки ее в запасах Иркутского художественного музея, где она значилась как неизвестный «Пейзаж с озерком».

Более полутора лет длилась реставрация осыпавшегося, потускневшего полотна. И вот накануне нынешнего 160-летия со дня восстания декабристов в Доме Трубецких произошло торжественное событие: красочный пейзаж дочери декабриста вновь, как и век назад, украсил стену гостиной.

* *
*

Лев Толстой замечательно просто сказал о первых русских революционерах: «Декабристы всегда интересны и вызывают самые серьезные мысли и чувства». Абсолютное бескорыстие и благородный идеализм тех, кого В. И. Ленин называл «лучшими людьми из дворян», а Герцен — «рыцарями с головы до ног, кованными из чистой стали, воинами-сподвижниками», не перестают привлекать нас. И все написанное об этих людях и ими самими только усиливает наше желание проникнуть в их тайну, понять, какими они были.

В Сибири это начинаешь понимать лучше, как начинаешь лучше понимать там и то, что привело на холодную Сенатскую площадь великих граждан России.

1986.

УЧИТЕЛЬ С ПРЕЧИСТЕНКИ

Испуганно пискнув, разлетелись высокие створки дверей директорского кабинета, и посредине холодной гулкой приемной он увидел кражистого старика в длиннополом черном пальто и смазных сапогах.

Солнечные блики с навощенного паркета мешали как следует рассмотреть странного посетителя, но прозрачная белая борода, словно стекавшая по развернутой груди, и насквозь сверлящие из-под ключковатых нависших бровей острые звероватые зрачки глубоко посаженных глаз не оставляли сомнения: перед ним стоял его великий тезка — Лев Толстой, который привез к нему в гимназию своих сыновей...

О подобной минуте Поливанов мечтал еще студентом. Грановский, Тихонравов, Буслав были его учителями на историко-филологическом факультете Московского университета. Он хотел походить на них, продолжить их дело. Между тем начинать потомственному дворянину нижегородской губернии приходилось с малого. Обучение грамоте ремесленников и мастеровых в воскресных школах, после получения диплома — русский язык и словесность в женском училище, Межевом институте, Учительской семинарии военного ведомства... Однако рамки казенных классов душили его педагогическую инициативу, а сами учебные заведения были далеки от идеалов гуманитарной школы, как ее понимал Поливанов. Косная, обветшавшая система образования николаевской России нуждалась в свежих веяниях. В стране же набирала силу реакция.

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.

Так скажет впоследствии об эпохе, в которую выпало жить и трудиться Льву Поливанову, А. Блок.

В столичных гостиницах и уездных собраниях еще не изгладилась память злосчастной Крымской войны, столь бесславно ознаменовавшей конец царствования Николая I. На папертях увечные герои Севастопольской обороны протягивали руку за подающим. По-прежнему под сухую барабанную дробь свистели на плацах шпицрутены, впиваясь в спины вчерашних мужиков, и вездесущая цензура изгоняла из печатных сочинений малейшие проблески свободомыслия. Долгожданная «эманципация», крестьянская реформа 61-го года не оправдала возлагавшихся на нее надежд, разочаровав передовое русское общество. В классических гимназиях и реальных училищах насаждалась казарменная муштра, а министр народного просвещения граф Д. П. Толстой цинично предлагал еще больше «подморозить» Россию, дабы отвлечь гимназистов от жгучих социальных вопросов. Той же линии придерживался и сменивший Толстого в министерском кресле Делянов.

В отличие от многих других Поливанов отказался смириться.



...Голос попечителя сонно тянул привычные поздравления, дребезжа предостерегающими нотками. В просторных залах старинного дома Пегова на углу Пречистенки и Малого Левшинского переулка яблоку было негде упасть. Лев Иванович поминутно одергивал крахмальные манжеты и ободряюще улыбался своим компаньонам. Мальчишки со двора, корча смешные рожи жмущимся к родителям сверстникам, заглядывали в широкие окна новой гимназии...

Она была открыта Поливановым и группой московских преподавателей в 1868 году, когда еще не смолкло эхо рокового выстрела Каракозова. И едва ли кто мог подумать тогда, что со временем частная гимназия эта превратится в уникальный культурно-просветительский центр старой Москвы, обретет значение символа.

...Испепеляющие годы!
Безумье ль в вас, надежды ль весть?

В числе прочих Поливанову суждено было стать «вестью надежды». Высокий, худой, стремительный, с откинутой на плечи гривой седых волос, с горящими глазами и лвиным рыком, переходившим порой в нежный шепот, с пленительной улыбкой, озарявшей его «бледно-зеленоватое, многолетней бессонницей выпитое лицо», испепеливший в себе «все сытое, жирное, бытовое», одухотворенный до экстаза, он являл «законченный тип иль портрет, бурно вырвавшийся из рамы в жизнь Москвы». Этот непревзойденный импровизатор не просто учил, но буквально «вжигал» в своих воспитанников знания, любовь к прекрасному, поражая воображение всех, кто с ним соприкасался.

Нельзя было не прийти в восторг «от красоты этой ураганной стихии, но скованной педагогическим гением... сперва четко учитывающим, какую стихию выпустить из своего пронумерованного инвентаря... и весь этот инвентарь великой игры, игры перманентной, игры в жизнь ради идеологических соображений, и был жизнью Льва Ивановича, отданной для воспитания и выковки культурных бойцов из отданных ему мальчат: Боренек, Васенек, Петенек.

И оттого-то первая встреча Бореньки с этим великим артистом под **формой педагога** была кризисом сознания Бореньки... ударило на всю жизнь произнесенное им: «Превосходно! Пойдемте же, мой друг!» — С этой фразой он, распроставшись с отцом и воткнув в рот огромный янтарный мундштук... полетел над перилами лестницы... а я — за ним... Я влетел в свое очень ответственное восьмилетие; и я влетел, быть может, в свою участь: стать «Белым» — писателем, а не профессором есте-

ствознания — Бугаевым; после того, как «сей жрец» в сердце мне возжег пламень поэзии...»

Кумиры Малого театра Лужский и Садовский, гремевшие в пьесах А. Н. Островского, «поэт-коммунист» Валерий Брюсов, сам одареннейший педагог, первый ректор Литературного института, профессор В. М. Лопатин с гордостью называли Поливанова своим Учителем и, выйдя из стен его знаменитой гимназии, продолжали сбегаться к нему на традиционные «субботы» в дом Пегова.

Повзрослев, они открывали для себя много Поливанова — лингвиста, литературоведа, издателя и редактора, автора монографий о Жуковском, Пушкине, Лермонтове, учебников русского языка и грамматики, хрестоматий для народного обучения, выдержавших до революции десятки изданий, — человека громадной эрудиции и широчайшего культурного кругозора, неутомимого просветителя, ведущего свою «родословную» от новиковских народных библиотек, переводческих и педагогических семинарий. И вся эта многообразная деятельность лишь дополняла живое чудо его преподавания, которое он творил ежедневно.

Представим себе урок скучной латыни в первом классе. И вдруг директор, завернувшись в воображаемую тогу, «простым нарисованием на доске «орла» римского легиона» распахивает детскому сознанию захватывающую картину. Час спустя, в четвертом классе, под его крошащимся мелом начинают оживать древние славянские буквы; и, напуганные каким-нибудь страшным болгарским «юсом», подростки, забыв обо всем, погружаются в увлекательные приключения суффиксальных форм, зачарованные тайнами метаморфозы звуков сравнительной филологии. То же и в восьмом классе: услышав однажды поливановское объяснение «Гамлета», воспитанники гимназии «будут теперь в годах урывать все свободное время, чтобы отдаться чтению Шекспира и проблеме театра».

«Гром и свет» — вот что такое были незабываемые уроки Льва Ивановича. Их ждали с трепетом, с утра спрашивали невозмутимого швейцара Василия: «Будет ли Лев?» (Лев Иванович порой не выдерживал переутомления), и, завидя его на лестнице из квартиры, с криком неслись в зал: «Лев идет, Лев идет!» А он, в кургузой курточке или в почти волочащемся по полу сюртуке, прижав к груди книжки, ураганом врывается в класс, и тогда по партам прокатывалось облегченно: «Добрый!» Когда же он являлся, едва ступая, поджавши губы и топыря ноздри, заложив за спину руки-плети, все замирали и даже не смели шептать слово «злой»...

На уроке Поливанов творил, свободно, вдохновенно; каждый урок превращался в маленькое произведение искусства, и потому поведение Льва Ивановича в классе было абсолютно непредсказуемо. Однажды, увлеченный чтением шиллеровского «Кубка», он принялся показывать, как справляется с соперниками «однозуб» (рыба-пила). «...изогнувшись

в неожиданном подпрыге с вылетом вовсе из кресла... вытянув длинную, мне показавшуюся гигантской руку, вооруженную синей палкою карандаша, он стал этой палкою целить мне в грудь, вопя благим матом:—«А однозуб — так вот,— он приподнял на меня, а я откинулся,— так вот распиии-ли-ва-ет носом врага»,— и синюю палку карандаша стал свирепо он ввинчивать мне в грудь: я — откидываться; рука — за мною; я — повалился головой на заднюю парту; он, привстав и одною рукою опираясь на мою парту, другою догонял мою силившуюся от него ускользнуть грудь, ввинчивая в нее свой синий карандашище...»

Этот и другие столь же необычные поступки Поливанова-педагога определялись безошибочной художественной интуицией, основанной на «многолетнем изучении детской, отроческой, юношеской души в ее многовидных вариациях; и на любую вариацию он реагировал вариацией своей вечной «поливановской темы», которую мы никогда не видели обнаженно в сухом лозунге, правиле, запрете, зарегистрированном наказании; его лозунги, правила, награды, запреты были всегда постановкою новой пьесы... ввергая в горькие слезы; но и исторгая слезы восторга и благодарности».

Неудивительно, что любили Поливанова ученики самозабвенно, без оглядки, «любили лучшие лучшими сторонами души». Подобно пожару, любовь эта развивалась постепенно на протяжении восьми лет, по мере того, как Учитель «охватывал нас на уроках все большими и большими горизонтами», давая в спутники столь ответственному переломному возрасту «высоко человеческий, чистый и прекрасный образ женщины». Исподволь и неприметно, но настойчиво и последовательно он воспитывал в ребятах «веру в мужество и силу человека, крича нам, что «диплом» — ерунда, коли с этим дипломом заблуждает по миру угасшее сознание».

А уж видел «Лев» своих воспитанников насквозь. Причем «эта уверенность, что видит насквозь, что не проведешь никакими подслуживаньями... — не питалась ничем видимым; он производил впечатление лишь увлеченного уроком педагога». Однако Поливанов не только индивидуально спрашивал и объяснял, но — и это самое главное — индивидуально реагировал на поступки и проступки учащихся. Мгновенные, казалось бы, спонтанные реакции его являлись результатом давно продуманного и узнанного об ученике, вследствие чего неожиданные резолюции директора гимназии были неоспоримыми. В них-то и сказывались исключительная проницательность Льва Ивановича, «умение подойти к душе воспитанника с братской помощью».

Стиль Поливанова был стилем его гимназии, неотвратимо подтягивавшим средних учителей до соответствующего уровня. Впрочем, благодаря масштабности природы и совершенно неотразимому обаянию Льву Ивановичу удавалось в разные годы привлекать к себе «на службу» преподавательскую элиту тогдашней Москвы. Мы встречаем здесь блистательного В. Г. Аппельрота и будущего профессора Ю. В. Готье, профессора М. М. Покровского и В. Е. Гиацинтова, заведовавшего потом

Музеем изящных искусств, отца народной артистки СССР С. В. Гиацинтовой. Наконец, сюда не чурался являться проводить занятия поистине феноменальный ученый-энциклопедист и оригинальнейший человек профессор С. А. Усов...

Верными друзьями и единомышленниками Поливанова были учредители гимназии. Среди них выделяется даровитый математик Е. Н. Кедрин, «военный по началу жизни», участник обороны Севастополя, сблизившийся там со Львом Толстым. Окончив в 27 лет академию Генерального штаба, он в чине подполковника вышел в отставку, чтобы целиком посвятить себя педагогике.

Вот какой состав преподавателей окружал царствовавшего над ними «Льва», создавая особую духовную атмосферу Поливановской гимназии. Она, пишет А. Белый, противопоставлялась и Креймановской, и Лицею; «в Лицей попадали... прокисшие «сливки общества» (т. е. именующие себя таковыми)... Поливановская гимназия все ж была не для них». От Креймана к Поливанову переходили «лучшие элементы», не миравшиеся с «подчеркнуто буржуазной» средой.

Пример — Брюсов. Если его креймановские впечатления, отраженные в «Днях моей жизни», проникнуты тоской, содержат стоны по поводу бессмыслицы существования и «пошловатые разглагольствования о кафе», то записи периода пребывания в гимназии Поливанова наполняются бодрыми, здоровыми интонациями чисто гимназических интересов, сохраняют следы углубленного самопознания и стремления к высшим идеалам. «Поливановский период, — как утверждает его младший «однокорытник» и обрат по искусству, — обрывает в Брюсове пошлость; я думаю, что это — влияние гимназии».

Непосредственность, равенство и игра в отношениях директора с учениками наглядно предстают на примере того же Брюсова. Его школьный перевод из Верлена Поливанов почтил шутливой пародией под названием «Покаяние лжепоэта-француза»:

Запутался смысл всех речей:
Жуковского слух мой уж слышал.
Но Фофанов (слов любодей) —
Увы! — из Жуковского вышел.

Самолюбивый и язвительный Брюсов не стерпел и без промедления ответил директору:

В моих стихах смысл не осмыслив,
Меня ты мышью обозвал
И, измышляя образ мысли,
Стихи без мысли написал.

Однако от такого обмена «любезностями» их дружба не пострадала. Спустя пару дней Брюсов заносит в «Дневники»: «Утром очаровал Льва Ивановича ответом о Дельвиге». (Под непосредственным влиянием По-

ливанова юный поэт всерьез обращается к Пушкину, готовится стать исследователем его творчества.) Хорошо понимал и ценил старый учитель также собственные поэтические способности своенравного воспитанника. Через несколько лет, когда все возмущались дерзким брюсовским эпатажем — «о, закрой свои бледные ноги...», — он только смеялся: «Оставьте. Умница, но ломается».

И недаром именно Валерий Брюсов впервые попытался в 1919 году реконструировать с трудом читаемый черновой набросок написанной в михайловской ссылке эпиграммы Пушкина, которая начинается строкой «Заступники кнута и плети...», и ответить на вопрос о том, кого из современников имела в виду эта эпиграмма.

* *
*

...Пушкин и Шекспир. Их имена были начертаны на знамени Поливановской гимназии, с ними связан не один ее яркий вклад в культурную жизнь Москвы.

Кто из москвичей не знал в ту пору о замечательном «Шекспировском кружке», другом любимом детище Льва Ивановича, обладавшего, по свидетельству современников, незаурядным актерским и режиссерским талантом. В разгар борьбы за умы и сердца молодежи, против нигилизма, упаднических настроений поливановская студия (как мы бы сейчас выразились) сыграла важную роль в деле пропаганды гуманистического искусства.

Порядки в кружке были самые демократичные; все грани между старшими и младшими учениками, между учителями и учащимися на репетициях упразднились. Единой когортой пылких энтузиастов выступали с подмостков любительской сцены семиклассники Голицын, Перфильев, восьмиклассники Бочков, Фохт, бывшие «поливановцы» студент Попов, поистине исторический Фальстаф — Лопатин, заслуживший своей игрой уважительный отзыв Льва Толстого, тонкий шекспирист и пушкинист А. А. Венкстерн, Гиацинтов, преподававший в гимназии историю и географию, учитель Бельский... Лев Иванович, поминутно вскакивая из-за режиссерского стола, вмешивался в ход репетиции, чтобы показать, как должен падать сраженный ядом Гамлет или привольно располагаться в трактире Генрих IV.

Гимназисты, не занятые в спектакле, смотрели во все глаза и потом ставили «кусочки» Шекспира на дому, особенно часто — у М. С. Соловьева. Так взаимное увлечение породило большое культурное начинание, которое вышло за пределы гимназии, дало ряд одаренных исполнителей и по достоинству было оценено Тургеневым, великой русской актрисой Гликерией Федотовой (чи дети тоже учились у Поливанова) и многими другими выдающимися деятелями отечественного искусства, литературы, науки.



Ученичество у Поливанова, по словам мемуариста, «выливалось в сотрудничество с ним учеников не раз». Всем известна блистательная «постановка» пушкинских торжеств в 1880 году в Москве: открытие опекунского памятника на Тверском бульваре, бессмертная речь Достоевского. Но мало кому ведомо, что основное бремя подготовки и проведения грандиозного юбилея легло на плечи Л. И. Поливанова и что бремя это разделяли с ним учащиеся восьмого класса его гимназии.

«Сотрудничество» начиналось на уроке. Поливанов требовал при ответе «рассказывать не от себя, а от Пушкина, по-пушкински», побуждая ребят вживаться в стиль гениального поэта. И сам же подавал им пример.

«Кто из нас не помнит,— пишет Л. Л. Толстой,— с какой любовью и пониманием Лев Иванович, может быть, в сотый раз в жизни, но все с той же свежестью чувства, читал перед нами стихи Пушкина? Кто не помнит, как он радовался хорошей и осмысленной передаче произведений наших классиков и ценил такие ответы? Кто не помнит той горячности и страстности, с какими вообще он относился к своему главному излюбленному предмету — русской литературе? Потому-то русская словесность и вообще русский язык проходились в нашей гимназии так, как нигде».

В то время, когда классическая гимназия толстовско-деляновского толка старалась оторвать (и в какой-то мере отрывала) школьные предметы от того, что происходило за стенами классных комнат, в доме на Пречистенке наблюдался обратный процесс. Даже изучение античных языков непосредственно увязывалось Поливановым с духом и требованиями русской словесности. Ему близка была центральная идея Ушинского — «знания должны готовить учащихся к жизни», и он подчинял учебный цикл задачам практического служения народу, стремясь раскормить творческую энергию воспитанников.

Каждым своим уроком Поливанов давал бой обывательской рутине, нередко отравлявшей дома души «Петенек, Васенек, Боренек». Да и в гимназии им порой доводилось выслушивать на переменах хвастливые разглагольствования богатых старшекласников, гонявших швейцаров за пирожками и конфетами и всерьез доказывавших, что «порядочные люди тратят деньги, а «нищий» — человек непорядочный». Сражаться книгой с этим неизбежным злом старой гимназии было нелегко. Но Поливанов сражался, надеясь обратить в свою веру избалованных «лоботрясов», озабоченных лишь тем, в каком смокинге появиться на модных велосипедных гонках «конкур иппик» и на открывшейся в Москве 29 апреля 1891 года французской промышленной выставке, где можно было за 5 рублей подняться на воздушном шаре с аэронавтом Жильбером

и отобедать у ресторатора Ансара по ценам «положительно недоступным большинству» («Русские ведомости», 1891, № 118).

Приближался слом столетия, роковой слом; и Поливанову при всей его незаурядности, конечно, не под силу было в одиночку остановить социальное «расползание» гимназии. Она являлась в миниатюре характерным сколком эпохи, подвластным как хорошему, так и дурному. Дурного же в те годы, увы, хватало с избытком.

Вот почему, несмотря на духовную избранность состава учащихся, в их число могли затесаться и будущий председатель Союза активной борьбы с революцией, добровольный палач Торопов, увлекавшийся в гимназии математикой, поэзией, и один из братьев Карр, милый «Сашка», ужаснувшийся впоследствии Россию убийством отца и матери.

То были чудовищные исключения, но и признаки неотвратимого распада, «распада не гимназии, а жизни». Ломалось время. Ветер истории врывается в покойные залы дома Пегова, вызывая смятение в юных сердцах, бросая их от запретного марксизма к туманному символизму. Возвышенные интересы неизбежно вступали в трагическое противоречие с действительностью, и Пушкин, Шекспир, Софокл должны были быть «по-новому добыты, то есть отмыты от штампов конца столетия не просто возвратом «вспять», а творческой переработкой самих восприятий сознания».

Лев Иванович Поливанов понимал это и по мере сил расчищал дорогу грядущему.

Он завершал свой путь в период нового подъема общественного движения, когда гибли на эшафоте первоапрельской Желябов и Перовская, когда был казнен старший сын учителя симбирской гимназии Александр Ульянов. Революция уже стучалась в двери. Казаки скакали по Пречистенке, разгоняя демонстрантов, и озверелые охотнорядцы избивали бастующих студентов. Наступал решающий час выбора. И символично, что в последнем выпуске Поливановской гимназии оказался убежденный марксист Володя Йвков, активный член нелегальных рабочих кружков, в будущем видный публицист, выступавший под псевдонимом «Миров». Среди старшеклассников у него было немало сторонников. Горячие идейные споры гимназистов затягивались допоздна...

Но вот морозным февральским утром 1899 года все они, примиренные, собрались в родных пенатах проводить своего Учителя в последний путь. Траурная процессия, направлявшаяся к Новодевичьему кладбищу, заняла целый квартал. Множество венков, речи, наряды полиции. Так же, скорбно склонив голову, шла Москва за гробом Гоголя и Льва Толстого. Похороны Поливанова, издание сборника его памяти и учреждение университетской премии его имени явились убедительным общественным признанием заслуг выдающегося педагога.

Не случайно деятельность Льва Поливанова привлекла особо пристальное внимание на начальном этапе становления советской школы. Интересна и поучительна она нам теперь, когда наша средняя школа находится на пороге реформы, включающей необходимость коренного улучшения курса гуманитарных дисциплин и методики их преподавания.

* *
*

...На бывшей Моховой, Пречистенке, Волхонке лето впадает в осень неприметно, лишь пятная опавшей листвой мостовые. Есть, однако, верный знак — нарядная детвора с цветами спешит к первому звонку...

От старого здания ломоносовского университета, «альма матер» московского просвещения, к арочной станции метро «Кропоткинская» пролегла незримая дорога времени. Здесь — связь эпох, здесь рядом с Государственным музеем А. С. Пушкина сохранилось строгое здание Поливановской гимназии. Она передала нам эстафету, и посеянные ею семена проросли в день сегодняшний.

1985.

ЛИРА КАМЕНЯРА

Нет, я не кинул мой тяжелый молот.
А все держу, хоть слабыми руками.
Его не вырвут смех, нападки, голод.

И. Франко

Пологий раскат его улицы, берущий начало от живописного двухэтажного особнячка под островерхой черепичной кровлей, неторопливо огибает величавый массив Стрыйского парка и тянется дальше, почти через весь старый город, к Рыночной площади.

Этим путем много лет подряд направлялся он каждое утро в редакцию «Курьера Львовского», а в последние годы, уже с парализованными руками, ходил на рынок за продуктами. Торговки привычно доставали из подставленного кармана кошелек, опускали в висевшую на сгибе локтя сумку покупки; и он шел обратно в гору, домой, класть на бумагу дрожащие строчки подвязанной к неподвижным пальцам ручкой.

Его путь всегда был в гору.

Как порой судьба отдельного человека становится воплощением и символом судьбы народа, заветом грядущим поколениям?

Я думал об этом на родине Ивана Франко, бродя средневековыми улочками старого Львова, города пяти метрополий. Тут не надо «домысливать» прошлое — оно окружает тебя со всех сторон, и каждый кре-

постной выступ, непреклонная вертикаль готического собора, затейливая пышность барочных порталов хранят неповторимые черты Времени.

Он умел зорко вглядываться в эти черты, ценить опыт минувшего и предчувствовать будущее, никогда, впрочем, не отрываясь от настоящего.

«Настоящее» его тоже здесь — на до блеска отшлифованных за века копытами лошадей брусчатых веерах мостовых, в резном полумраке подъездов и увитых плющом внутренних двориках, помнящих писателя и готовых, кажется, вот-вот выпустить на перекресток его невысокую художавую фигуру.

Напластования, противоборство различных национальных культур, неподвластных игре политических страстей истории. А быть может, напротив — их синтез, взаимообогащение?

Запечатленный в камне и дереве облик старого Львова как бы дополняет живое слово Франко. Поэт и ученый, писавший на пяти языках и переводивший с четырнадцати, явил яркий пример истинного патриота-интернационалиста, продолжившего великую просветительскую миссию Тараса Шевченко. Словно легендарный каменотес-каменяр, прорубал он в горах дорогу к свету своему замордованному, бесправному народу. И подобно тому, как в расширенном фундаменте, кладке стен и сводов львовских архитектурных памятников проступают элементы древнерусского зодчества, так и многогранное творчество славного Каменяря, питаясь народными истоками, национальной культурной традицией, опирается вместе с тем на достижения классической литературы и передовой общественной мысли братской России.

* *
*

Даже было тогда до России от богом забытого галицийского села Нагуевичи, где 15 августа 1856 года родился будущий писатель. Зато рядом простирались сказочные карпатские дубравы, заронившие в душу мальчика первые ростки поэзии и красоты.

Мимо отцовской кузницы пролегал большак, по которому толпы обнищавшего крестьянства Западной Украины брели на заработки в ошестинившиеся нефтяными вышками Дрогобыч и Борислав. Огонь кузнечного горна сулил усталым путникам тепло, а приветливость хозяина — человека умного, веселого и сердечного, как характеризует его в воспоминаниях сам Франко, — располагала к беседе. Немало вынес для себя мальчик из этих бесхитростных рассказов.

Семья сделала все, чтобы он, крестьянский сын, получил образование. Еще на гимназической скамье Франко начал сочинять стихи, затем обратился к драмам из истории славян. В них сказалось влияние «Слова о полку Игореве» с его пафосом объединения русских земель. Франко перевел «Слово» на украинский язык, а вскоре на страницах львовского

студенческого журнала «Друг» появилось стихотворение юного поэта, за которым последовал первый сборник стихов.

Философский факультет Львовского университета, куда юноша поступил в 1875 году, быстро разочаровал его схоластической системой тамошнего обучения. «Проклятые» вопросы социологии, материалистическая эстетика Чернышевского — вот что занимает Франко в студенческие годы. Он выступает с новаторскими для тогдашней украинской критики статьями и рецензиями, отстаивавшими необходимость связи литературы с жизнью, окунается в самую гущу общественной борьбы.

На третьем году учебы в университете Франко арестовали за принадлежность к тайной социалистической организации и продержали в тюрьме свыше девяти месяцев. «Это была первая школа, которую я прошел на дне галицийского общества», — напишет он потом в своих воспоминаниях.

Тяжелые условия заключения не сломили дух молодого поэта. Тюрьма закалила его, помогла сформировать мировоззрение. За решеткой и сразу после освобождения Франко создает цикл мужественных стихотворений, в которых приветствует революцию и клянется до конца служить ее идеалам. Органом революционной пропаганды становится для писателя организованный им журнал «Громадський друг» («Друг общества»), под давлением цензуры дважды менявший свое название.

Не устроили Каменяра второй и третий аресты. Однако жизнь «скомпрометированного» в политических процессах была невыносима. Польские и украинские буржуазные националисты яростно травили Франко, австрийская полиция стерегла каждый его шаг... Силы для упорной борьбы с реакцией Иван Яковлевич черпал в народе, и народ платил ему горячей любовью.

Он жил интересами родной культуры и, приближая своими переводами к украинскому читателю русские и мировые литературные сокровища, стремился одновременно обогатить национальную словесность новыми жанрами. Особенно жанром социального романа, в котором, вслед за Пушкиным и Белинским, видел главную форму реалистического искусства. Оружием поэтической сатиры, критики и публицистики боролся он с мутной декадентской волной, издавляя руку Горькому.

В русле борьбы за реализм развивалось и художественное творчество Ивана Франко — поэта, прозаика, драматурга.

Скромные обложки первых изданий его стихотворных сборников и поэм на стенах музея, давно ставшие хрестоматийными «Вершины и низины», «Увядающие листья», «Мой Измарагд», «Панские забавы», «Иван Вишневецкий», «Моисей»... То был подлинный взлет украинской поэзии послешевченковской поры, заметный вклад в мировую лирику конца XIX — начала XX столетия.

О мой народ, замученный, разбитый,

Я за твое грядущее в ответе...

С какой страстью прозвучала франковская лира, окрылившая безотрадную долю галицийского мужика мечтой о светлом будущем, где воцарятся свободный труд и общественная собственность («Думы на меже»). С какой силой заявил поэт о праве народа на счастье в своем шедевре — «Вершинах и низинах».

Неотразимо обаятельные образы простых людей, земляков писателя, заполнили страницы его повестей и рассказов. Мы узнаем их на сериях иллюстраций разных лет, собранных в залах музея. Вот они — неунывающие труженики из сборника «В поте лица», колоритные персонажи «тюремных» новелл, эпические соратники Захара Беркута, вставшие некогда на пути батыевых полчищ...

В невиданных до него по социальной остроте произведениях Франко-прозаика перед читателем разворачивается картина жизни всех слоев тогдашнего украинского общества. Но прежде всего наша благодарная память возвращается к двум замечательным повестям — «Воа constrictor» и «Борислав смеется», впервые показавшим начальный этап организованных выступлений рабочего класса.

Национальная драматургия, театр — они многим обязаны Ивану Франко. Музейные материалы напоминают, сколь большое значение придавал он сценическому искусству в деле культурного и политического воспитания народа, пробуждения его самосознания. Он ратовал за новый, демократический театр, призывал изгнать рутину с театральных подмостков и для этого, не щадя сил, работал над созданием современного репертуара, обращаясь к различным жанрам.

Эскизы и макеты декораций к спектаклям по пьесам И. Франко, фотографии лучших исполнителей в сценах из спектаклей воскрешают атмосферу первых постановок исторической драмы «Сон князя Святослава», сатирической комедии «Учитель» и, конечно же, бессмертной социально-психологической драмы на крестьянскую тему «Украденное счастье», неотделимой уже от блистательных актерских талантов Бучмы и Ужвий.

Меткая обличительная сатира — еще одна грань творчества Каменяра. Его сатирические притчи, сказки, миниатюры перекликаются с гневной музой Гейне и Щедрина, бичуя свинцовые мерзости «среднеевропейского болота» лоскутной Австро-Венгерской империи.

* *
*

Изнурительный подвижнический труд был основным содержанием жизни Ивана Франко, о зрелом периоде которой он сам однажды отозвался так: «Дальнейшее описание моей жизни может заменить библиографический список моих работ».

2 июля 1913 года, в канун сорокалетия литературной и общественной деятельности писателя, во Львов съехались делегации из России и Австрии, Польши и Украины, посланцы галицийских крестьян и украинских землячеств в Канаде. Увы, ни лавровый венок с серебряными листьями, ни богато отделанный бронзой символический «рог изобилия» — подарок несравненной оперной певицы Саломеи Крушельницкой не могли спасти всемирно известного юбиляра от жестоких тисков нищеты.

Трогательные подарки гуцулов: сумка-тобивка, деревянный бочонок, две инкрустированные палки, глиняная миска, старинная чернильница еще резче оттеняют скудость убранства последнего жилища писателя.

Посетители музея-квартиры подолгу стоят перед необычным документом — Обращением Львовского научного общества имени Т. Шевченко к украинской общественности. В Обращении говорится: «Один из выдающихся наших писателей последнего поколения — Иван Франко — тяжело и неизлечимо болен... Он сам и его близкие остаются без всяких средств к существованию, без надежды на медицинскую помощь и соответствующую опеку... Просим вас заняться сбором денежных средств среди ваших знакомых...»

Случались дни, когда ему не на что было купить кусок хлеба. Болезнь унесла жену, старшего сына. Силы таяли. Но и прикованный к постели, он не переставал диктовать дежурившим у изголовья студентам.

Он ушел, чтобы возвратиться к людям заповедной лесной тропой своего детства, девятнадцатимиллионными тиражами книг на 60 языках, названиями улиц, теплохода, театра, университета, города... Ушел, чтобы следом пришли его ученики и восприемники — будущее его родной литературы, которое он предчувствовал и в котором всегда будет жить.

А хоронили Ивана Франко в чужой рубашке, принесенной соседкой. Гроб с телом поставили в чужую гробницу на Лышаковском кладбище и лишь в 1921 году перенесли на новое место. Спустя еще двенадцать лет могила украсилась памятником — могучий Каменяр дробит киркой грозную скалу.

Но было и другое.

Вот свидетельства очевидцев, застигнутых 26 мая 1916 года скорбной вестью, что Франко не стало:

«С букетами сирени мы пошли к его дому и застали там уже двух гуцулов-солдат, которые стояли на коленях у кровати Франко и горько плакали...» Дальше — «был солнечный день. В полдень начали наплывать массы народа. Количество участников похоронной процессии доходило до десяти тысяч. Прощальные речи затянули похороны до 24 часов, когда звезды покрыли чистое вечернее небо.»

1984.

В НОЧЬ НА ИВАНА КУПАЛУ

Еще от колыбельных песен надо мной
Я все здесь полюбил от края и до края...

Я. Купала

Он родился в ночь на Ивана Купалу, когда начинают набирать силу хлеба и расцветает в чаще редкий цветок папоротника, по старинному поверью, дарящий счастье тому, кто найдет его в эту волшебную ночь.

Он лежал в самодельной колыбели, подвешенной за старое коромысло к потолочной балке, а рядом на берегу Вязинки нарядные парни и девушки водили хороводы, плясали и пели под тягучие звуки жалейки — дудочки, выдолбленной из тонкого дерева, плели венки и пускали их с горящими свечками по воде. Отплывая, огоньки долго еще мерцали во тьме...

Потому-то и стал Иван Доминикович Луцевич Янкой Купалой, а первый, прославивший его сборник стихов назвал «Жалейка». Всю жизнь он искал папоротник счастья для своего в прошлом забитого, раздавленного нуждой народа, всю жизнь неотступно шел дорогами народной судьбы.

Дороги эти вились от самой его колыбели — на скудной, глинистой земле и болотных торфяниках, тяжело отдающих хлебоборбу каждый колос; в дымящихся струях дождей и колючих, горьких ветрах.

С тех пор, как всемогущий князь Радзивилл выгнал деда поэта из дому, начались нескончаемые скитания разоренной семьи от одной помещицкой усадьбы к другой в поисках крова и работы.

В барском доме пир трезвонит,
Светятся огни,
А меня из хаты гонят,—
Так вот и живи!

В фольварок Вязинка — небольшое поместье Замбжицких — Луцевичи приехали ранней весной 1881 года. Пробуждая надежды, ласково пригревало солнышко, капало с крыш, заливались жаворонки. Панский дом стоял в центре усадьбы, колоннами фасада к югу. За ним лепились хозяйственные постройки и приземистая, крытая щепой хата дворового люда. Доминик Луцевич поселился с женой в соседней хате у реки, где год спустя родился будущий поэт.

Прижатый к фольвароку набегом сосен, рассвет тихо наползал с реки, копился в сплюснутых оконцах. Скрипнула дверь. Мать вынесла на крыльцо первенца и протянула его на вытянутых руках к солнцу...

Сейчас здесь все так, как было тогда (хату восстанавливали по сохранившемуся абрису фундамента, старым рисункам и фотографиям). Незамысловатые предметы крестьянского обихода, струганый стол со скатертью в красном углу под иконами, глиняный молочный жбан, вышитое полотенце... К углу сходятся две широкие скамьи — на них работали и отдыхали. Прошелестел за окном ветер, и неслышно качнулась прясница, у которой зимними вечерами сживала мать поэта, поправляя деревянный ходунок — такой встретишь только в Белоруссии, — в нем маленький Ясь делал первые шаги. Он быстро учился ходить...

Шаг в сени, заставленные домашней утварью, — и вот они, все те же невысокие холмы в прозрачных березках, туманная кромка дальнего бора, зеркальный изгиб Вязынки. Местные старожилы рассказывают, что когда-то их деды и прадеды вязали тут плоты и сплавливали вниз по течению. Возможно, отсюда и родилось это название — Вязынка, так подходящее родине великого Песняра.

Из-за деревни, мимо поля,
Долиною в лесную тишь
Спокойно, запросто, на воле
Бежишь ты, реченька, бежишь.

Горькая доля неимущего крестьянина-арендатора не давала отцу возможности прочно осесть на одном месте. В 1883 году он служил уже в Юзуфове, в 1887 году — в Косино, в 1889-м — в Сеннице. Где уж тут было мальчику систематически учиться! В Косино с ним немного занимался гимназист Попович, в Сеннице он ходил в народную школу к Олимпиаде Васильевне Солнцевой, заметившей и постаравшейся развить недюжинные способности Янки. Память о ней поэт сохранил на всю жизнь.

Минск, где отец Купалы, отчаявшись выбиться из нищеты, устроился в 1890 году извозчиком, тоже не оправдал их ожиданий. На следующий год семье пришлось покинуть город и вновь идти на поклон к помещикам. Все же за одну зиму Янка оканчивает Белорусское народное училище и получает единственный в своей жизни «диплом» об образовании.

Отцу нужен был помощник, и юноша продолжает «читать грустную книгу помещицъей пашни и писать печальную повесть своего горя сохой да косой». Позже в стихотворении «Моя наука» он скажет:

В науку нужда не давала мне ходу,
И книжной премудрости я не постиг,
Язык белорусский и думы народа
От матери знал я — без школ и без книг.
Наставником с детства, с годов невеселых,
Служил мне простор в белорусском краю,
И всходы на нивах, и говор по селам
Мне в дар приносили науку свою.

Однако он выкраивает время на потрепанные томики Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова, Шевченко, А. Мицкевича, Э. Ожешко, которые вместе со скрипкой и жалейкой делают его постоянными спутниками. С ними он оплакал внезапную смерть отца весной 1902 года. А осенью семья постиг новый удар — в течение одной недели болезнь унесла в могилу единственного братишку и двух младших сестер. Теперь все заботы об оставшихся четверых и матери легли на плечи старшего. Ему исполнилось 20 лет.

Куда только его ни бросала судьба! Мы видим Янку домашним учителем, переписчиком у судебного следователя в Радошковичах, сторожем в Толочинском лесничестве и чернорабочим на винокуренных заводах в Яхимовщине, где он узнал, что такое настоящее пекло... Это были горьковские «университеты», и они не прошли даром. Там, в Яхимовщине, застал Купалу девятьсот пятый год и вынес его на своих волнах революционным поэтом.

Гравюра Я. Романовского — «Купала читает рабочим стихи». Рядом на стенде номер минской газеты «Северо-Западный край» со знаменитым стихотворением «Мужик». В разгар первой русской революции в нем прозвучал голос миллионов, хотевших «людьми зваться». Пройдет несколько лет, и А. М. Горький назовет гимном белорусов и сделает перевод купаловского стихотворения «А кто там идет?»

Потом будут Вильна, Петербург, общеобразовательные курсы Черняева, знакомство и дружба с В. Брюсовым, С. Городецким, Горьким... После занятий на курсах он уходил в новый мир петербургских набережных, музеев, библиотек. Окно его комнаты упиралось в каменную стену. Но он любил камень за непочатость и неуступчивость. По камню стены он мысленно спускался на камни эпохи, которая раскрывала ему свою тайну. Он не желал ходить среди обитых колосьев и рвался к сути вещей, подставляя ладони призывания слову правды. Его тревожили итальянцы, бездонная тишина Рембрандта, вещей сумрак врубелевских красок. Он приобщался к эпосу народа, к древней грусти русского искусства. И брал все это с собой в дорогу...

В августе 1912 года Купала приехал на каникулы в Белоруссию, чтобы встретиться наконец со своим «братом по музе, по судьбам» Якубом Коласом, только что вышедшим после трехлетней «отсидки» из минской тюрьмы и безуспешно добывавшимся места сельского учителя. Бережно восстановленная хата Коласа в его родном селе Миколаевщина напоминает нам об этой знаменательной встрече двух ровесников-земляков, основоположников и крупнейших мастеров современной белорусской литературы, которые более трех десятилетий шагали «рука об руку одной дорогой», как сказал Я. Колас. Купала же в обращенном к другу стихотворении 1936 года писал:

Вкруг княжий бор шумел, а Неман
К тебе дорогу мне означил.
Блестели звезды в небе немом,
И стон за Неманом маячил.

Ныне в Минске у каждого из них своя красивая площадь с монументальным памятником, свой любовно содержащийся музей.

В первые дни войны дом Купалы сгорел от прямого попадания бомбы, в огне погибли рукописи, богатейшая библиотека. Фашисты сожгли дачу поэта в Левках. С острой болью в сердце покидал он родные края. Но слово его, страстное, гневное, летело к землякам сквозь эфир, сходило в партизанские землянки со страниц газет и листовок.

Партизаны, партизаны,
Белорусские сыны!
Бейте врагов поганых...
Свору черных псов войны.

Он не дождался Победы. 4 августа 1945 года белорусское правительство и ЦК КПБ постановили увековечить память народного поэта. Сначала экспозицию развранули в двух комнатах Дома профсоюзов, потом в Союзе писателей Белоруссии. А в 1960 году на месте разрушенного дома, в котором почти пятнадцать лет жил и работал художник, было построено здание литературно-мемориального музея.

Собирала его, неутомимо отыскивая разбросанные войной материалы огромного купаловского архива, личные вещи поэта, уцелевшие рукописи, жена и верная спутница Ивана Доминиковича Владислава Францевна Луцевич. Теперь парадной лестницей, украшенной яркими настенными панно народного художника СССР М. А. Савицкого на мотивы произведений Купалы, поднимаются посетители в его скромный рабочий кабинет, а потом расходятся по 12 залам экспозиции.

Счастливым свойством музея — он воскрешает живой образ человека и времени. Неизвестные ранее документы о службе Я. Купалы в продотрядах, страничка с рукописным текстом его перевода в 1921 году на белорусский язык «Интернационала», перевод «Слова о полку Игореве»... А вот купаловский портрет работы художника Е. Кругера — одно из лучших прижизненных изображений поэта. У портрета этого примечательная судьба. Вывезенный гитлеровцами в Германию, он был обнаружен советскими солдатами в Потсдаме, возвращен правительством ГДР и реставрировался в Эрмитаже.

Книги, книги, книги... На 50 языках народов мира и нашей страны читают сегодня Купалу. По его сборничку детских стихов «Мальчик и летчик» учился мечтать о небе Юрий Гагарин, его поэзия вела в бой Николая Гастелло, совершившего свой подвиг над купаловской Вязынкой.

...Дорога в Вязынку петляет молодым леском, и на лугу у дома приветливо шелестят кроной сто дубков, посаженных писателями республики к юбилею Песняра. Ежегодно во второе воскресенье июля тысячи жителей Белоруссии, посланцы братских литератур, гости со всех концов страны и из-за рубежа съезжаются сюда на купаловский праздник поэзии. По решению ЮНЕСКО Вязынка включена в международный маршрут туризма.

Большой заботой окружены в Белоруссии купаловские места (их около десяти). Отстроен филиал литературного музея поэта в Левках, которые он очень любил и где написал немало прекрасных стихов, любясь днепровскими далями. В деревне Сеннице, неподалеку от Минска, вскоре будет открыт школьный музей. Чтят память поэта и на берегах Волги. Под Казанью, в поселке Печиши, создан музей-квартира Янки Купалы. Здесь почти восемь месяцев прожил он во время войны. Все новыми ценными экспонатами пополняются фонды минского музея, насчитывающие уже свыше 20 тысяч единиц хранения.

* *
*

Он прошел по земле многими дорогами, и многие дороги ведут сегодня к нему.

Неумолчно журчит у вязынского пруда купаловский ручей, и плывет над притихшим людским морем, над зелеными околицами белорусская, русская, украинская, латышская, казахская, польская речь, сплетаясь в красочный венок братства; звучат до позднего вечера стихи и песни Купалы, летит к людям его бессмертное слово.

Всюду с народом вести разговоры,
Слушать биение сердца его —
Это одна мне в жизни опора,
Больше не надобно мне ничего!

1984.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ!»

Он мечтал скорее вернуться в Союз, говорил, что в такое невиданное время «надобно быть дома». Поездки по СССР в 1928 и 1929 годах укрепили его в этом страстном желании. Однако тяжелая болезнь бронхов, легких, сердца затягивала пребывание в Италии, где роковой недуг временно отступал и появлялась надежда «успеть хорошо написать» свою главную книгу — «Жизнь Клима Самгина».

И все же разлука с Родиной сделалась под конец настолько невыно-

симой, что никакие опасения врачей уже не могли удержать писателя в Сорренто.

«В апреле — еду», — вырывается у него в строках письма. — «Очень хочется скорее в Москву! Точно «четвертая» сестра Чехова»...

И вот этот долгожданный час настал. С раннего утра Алексей Максимович стоял в коридоре вагона, жадно ловя взглядом приближающиеся окраины столицы. А тем временем к площади перед Белорусским вокзалом тянулись тысячные толпы москвичей, делегации рабочих с цветами и транспарантами, пионеры...

Те, кто встречал Максима Горького 14 мая 1931 года, навсегда запомнили этот день. Запомнили смущенную улыбку писателя под знаменитыми висячими усами, его волнение и намернувшуюся на глаза слезу.

В тот же день Горький переступил порог дома № 6 по Малой Никитской, в котором ему предстояло провести последние пять лет жизни — с 1931 по 1936 год, и где десятки раз на дню раздавалось из множества уст традиционное: «Здравствуйте, Алексей Максимович!»

«Какой нелепый дом!» — произнес, по свидетельству Е. П. Пешковой, писатель, впервые увидев знаменитый шехтелевский особняк. Было это еще в 900-х годах, когда, наведываясь из Нижнего Новгорода в Москву, Алексей Максимович гостил у С. Скимунта, неподалеку от Малой Никитской, в Гранатном переулке (ныне улица Щусева), и часто зааживал в соседний особняк Саввы Морозова на Спиридоновке (теперь улица Алексея Толстого).

В многослойном архитектурном ансамбле старой Москвы модерн начала века пророс капризной асимметрией, вызывающей необычностью форм и объемов. Людям типа Горького подобная нарочитая декоративность, «живописность» претила, зато она весьма прельщала Морозовых, Рябушинских, Карзинкиных, старавшихся перецеголять друг друга оригинальным роскошеством своих торговых контор и особняков.

Человек большого таланта, Федор Осипович Шехтель, следуя моде времени, сумел возвысить ее яркой творческой индивидуальностью, найти в ней неограниченные возможности фантазии. В смелых экспериментах с архитектурными стилями прошлых эпох взыскательность, чутье, вкус не изменяли ему. «Древнерусский» колорит Ярославского вокзала, «готика» особняка Морозова на Спиридоновке — характерные тому примеры. И не случайно именно этому ведущему московскому зодчему, близкому другу Чехова и Левитана, основатели МХАТа доверили проект здания Художественного театра в бывшем Камергерском переулке.

Дом на Малой Никитской Ф. О. Шехтель построил по заказу миллионера Рябушинского в 1902 году. Расположенное свободно, в расчете на обозрение со всех сторон, трехэтажное здание не поддается никакому определению. Трудно даже представить членение дома по вертикали, сосчитать количество этажей, поскольку то круглые, то квадратные окна всевозможных размеров, в невиданных переплетах и обрамлениях, произвольно разбросаны по фасаду на разном уровне от земли, на разном расстоянии друг от друга.

Внутри царит излюбленная модерном водная стихия. Она начинается с инкрустации дверей, растекается рисунком паркета, зеленоватым болотным штофом на стенах и водяными лилиями, кувшинками, улитками в лепнине потолка. А мраморные перила парадной лестницы на второй этаж вздымаются застывшим всплеском громадной волны, увенчанной медузой-светильником.

Витая решетка внутреннего балкона, смальтовая мозаика опоясывающего дом фриза, цветовая гамма витражей — все поражает воображение.

Шехтель настолько увлекся работой (отделка интерьеров дома продолжалась с помощью даровитого архитектора И. А. Фомина до 1906 года), что сам сделал эскизы витражей и рисунки орхидей для фриза, выполненного в прославленной петербургской мастерской Виноградова и остающегося образцом для поколений художников-мозаичистов.

При всем буйстве фантазии шехтелевскому особняку не откажешь в своеобразной гармонии, законченности. Во все мировые справочники и учебные пособия по архитектуре вошел этот любопытный памятник. И вот ему-то и суждено было стать домом Горького.

Известно, что к выбору своего будущего жилища писатель не имел ни малейшего касательства, не высказывал никаких просьб и пожеланий. Дом был выделен Моссоветом по решению правительства, и выбор этот объяснялся рядом причин.

Прежде всего учитывались возраст и состояние здоровья Алексея Максимовича, его немалая семья и, главное, необходимые условия для напряженнейшей творческой работы, гигантской организаторской и общественной деятельности, ожидавших Горького в Советском Союзе.

Дом на Малой Никитской подходил по всем статьям. Он был вместителен, имел удобную планировку, закрытый садик, располагался на тихой улице в центре Москвы, рядом с редакциями и учреждениями, в которые постоянно наведывался писатель. После революции бывший особняк Рябушинского последовательно занимали Госиздат, детский интернат, Всесоюзное общество культурных связей с заграницей.

К приезду Горького дом отремонтировали и заново обставили привычными ему кожаными креслами и диванами. А затем в кабинете, спальне, библиотеке появилось нечто «свое», горьковское, носившее отпечаток его вкусов и склонностей. И в первую очередь — письменный стол, очень большой, простой столярной работы, на ножках выше обычного, поскольку при высоком росте больному туберкулезом легких писателю трудно было низко наклоняться над бумагой. У стола нет ни тумбочек, ни ящичков — все должно лежать на виду, иначе руки не дойдут, говорил Алексей Максимович.

Никогда не пользовался он и традиционным письменным прибором, авторучками; их заменяли ему чернильница на блюде, ручка с пером и горка цветных карандашей, которыми написаны здесь тома незавершенной «прощальной» эпопеи, пьесы «Егор Булычев и другие», «Достигаев и другие», второй вариант «Вассы Железновой», рассказы, воспо-

минания о И. П. Павлове, Камо, сотни статей, речей и открытых писем — отклики на все важнейшие события в жизни страны и мира.

В кабинете на Никитской быстро сложился тот же порядок, что в Сорренто, Горках, Тессели, о котором неоднократно посещавший Горького С. Я. Маршак вспоминал: «Казалось, он (Горький. — Ю. О.) возит свою рабочую комнату с собой».

По просьбе писателя в доме произвели лишь самые незначительные изменения: убрали, к примеру, в столовой огромный, напоминавший, по словам Горького, зияющую пасть, камин, открыли вход со двора, со стороны Спиридоновки, где появление Алексея Максимовича не привлекало любопытных взоров.

Постепенно Горький привык к дому, обжился, полюбил маленький сад, в котором росли клены, липы, сирень, и в часы отдыха сам ухаживал за цветами. Но главное было то, что «работать можно». Непрерывно звонили телефоны в секретарской, собирались горы почты. И на многих конвертах стояло только: «Москва. Горькому»...

Из соседнего дома, где помещались редакции журналов «Наши достижения», «СССР на стройке», «За рубежом», которые возглавлял писатель, ежедневно приходили сотрудники с рукописями и гранками, и редакционные совещания часто проводились на квартире Алексея Максимовича. Здесь же проходили встречи с работниками других изданий, основанных и руководимых Горьким: «Колхозника», «Истории фабрик и заводов», «Истории гражданской войны», «Жизни замечательных людей», «Библиотеки всемирной литературы» и т. д.

Сюда, на Малую Никитскую, к председателю всесоюзного оргкомитета стекались донесения о ходе подготовки I съезда советских писателей. Здесь обсуждали важные вопросы партийные и государственные деятели, литераторы, ученые, художники, здесь рождались масштабные замыслы и начинания. Р. Роллан, Б. Шоу, А. Толстой, М. Шолохов, П. Корин, В. Мухина, Л. Орбели, Н. Бурденко — таков далеко не полный перечень замечательных людей, посещавших этот дом. Прибавьте к ним еще рабочих, колхозников, пионеров...

«Я не лицо, а целое учреждение», — шутил Горький. И действительно, отнюдь не частной квартирой являлись просторные комнаты особняка у Никитских ворот, но одним из культурных центров страны.

Мы ощущаем это и сегодня, спустя десятилетия, ибо благодаря заботе семьи писателя все здесь сохранено так, как было при его жизни: время оказалось не властно над волнующей атмосферой, над духом горьковского Дома. Вот почему, когда 28 мая 1965 года, в день торжественного открытия музея-квартиры, сюда вместе с другими многочисленными посетителями пришли люди, бывавшие у Горького, они испытали такое чувство, будто снова находятся у него в гостях.

С 1977 года дом был закрыт для посетителей. Необходимость замены коммуникаций и ремонта всего здания в момент постановки особняка на государственный учет по закону «Об охране и использовании па-

мятников истории и культуры» от 1976 года привела к длительной реставрации.

Обновились фасад и парадный вход, восстановлены первоначальный облик комнат второго этажа и центрального холла с росписями стен, тканевая обивка гостиных, на третьем этаже возвращены узкие окна, верхний свет. Раскрыта роспись на потолке библиотеки, посвежели дубовые двери и панели, окраска стен. Вновь выстроились на полках редкостные горьковские коллекции произведений прикладного искусства Востока, заняли свои места в застекленных шкафах тысячи книг с уникальными дарственными надписями, автографами и пометами.

Жизнь, кипевшая в доме при жизни писателя, продолжается. Как прежде, придут сюда те, кто встречался с Горьким, присядут к столу, накрытому белой скатертью, и одна из хранительниц горьковской библиотеки, Марфа Максимовна Пешкова, внучка писателя, поставит на стол самовар.

...Путь сюда лучше начинать с залов Музея А. М. Горького, открытого при Институте мировой литературы АН СССР в 1937 году. И когда, проследив эту колоссальную жизнь и этот колоссальный труд от первых скитальческих шагов по Руси до расплывающегося дрожащими буквами предсмертного черновика на столике у потертого кресла из Горок, принявшего его последний вздох, вы спуститесь по улице Воровского к филиалу музея — мемориальной квартире на углу Малой Никитской, вас встретит в передней напротив двери портрет работы Н. А. Пешковой и С. С. Урановой; Алексей Максимович только что перестал писать и смотрит прямо на входящего.

«Он сидит прямой, угловатый, скосив плечо. Густые усы топорщатся. Голова от коротко подстриженных под бобрин волос, от крутого подбородка, от выступающих скул, от глубоких и резких морщин кажется квадратной. Сутулится. По спине заметно, что время берет свое. Руки все время в движении — то вертят спичечную коробку, то разрезают нож, то ручку. Очень помогают ему в разговоре. Весь он как бы в шипах и колючках, близко к себе не подпустит зря. Но вдруг в серо-ватых глазах промелькнет сдержанное дружелюбие к миру, к жизни, к людям».

1984.

ОЛЕССКАЯ ЖЕМЧУЖИНА

Густой перезвон курантов с башни Ратуши медленно замирает в брусчатых изгибах средневековых улочек, стиснутых потемневшими от времени фасадами домов, соборов, монастырей. Остается позади сердце старого города — площадь Рынок, приземистая, утыканная бойницами стена бывшего арсенала.

Под натужные свистки маневровых паровозов с подъездных путей

львовских заводов наша машина вырывается на Киевское шоссе, утонувшее в белой кипени садов.

Мы едем в Олесский замок, еще одно возрожденное чудо этой древней земли.

Здесь, в 70 километрах от города, у поселка Олеска, как бы продолжается уникальный Львовский историко-архитектурный заповедник, его редкостная картинная галерея, богатейшая коллекция оружия, тканей, деревянной скульптуры.

Над янтарно-золотистой плоскостью полей, над чередой дубовых рощ и островками черепичных кровель он парит, плывет следом за облаками, как сказочный корабль, посланный в вечность.

Увидишь его с другой стороны, в другом ракурсе, — и это уже не корабль, а огромная птица, присевшая отдохнуть на крутой холм. Откуда ни подведешь к замку — он всегда разный. И в прозрачном утреннем свете, и в солнечном мареве, и в крадущихся предвечерних тенях, заставляющих оживать выступы башен.

...Закроешь глаза — и видишь на их месте непроходимые лесные болота, зарево пожара над соседним Плиснеском, оскаленные морды косматых ордынских коней, стелющихся в погоне за горсткой случайно уцелевших беглецов, которым предстоит заложить тут укромное городище. Шел тринадцатый век...

Вот уже целое столетие слезами, кровью и гарью платили удельные княжества за распад некогда могучей Киевской Руси. Но дух народа, помноженный на время, брал свое. Исполдволь, неуклонно оживала и крепла земля. К 1327 году древнерусское городище на высоком холме превратилось в грозную крепость со стенами десятиметровой высоты и двух с половиной метров толщины. Исследователи утверждают, что построил ее потомок Даниила Галицкого, один из сыновей галицко-волинского князя Юрия Львовича — Андрей или Лев.

На две стороны мужественно сдерживали натиск западных завоевателей галичане и волынцы, но силы были слишком неравны. Во второй половине XIV века Волынь отошла Литве, а Галиция — Польше. Олесский замок, стоявший как раз между Волынью и Галицией, очутился, таким образом, на границе двух феодальных государств, каждое из которых яростно претендовало на него.

Тут-то и начинается самый бурный и героический период в долгой истории замка, можно сказать, его «звездный час». Под водительством олесского старосты Ивашко Преслужича окрестные крестьяне поднялись на борьбу с угнетателями, и замок стал надежным оплотом восставших. Со всей Западной Украины стекались к нему отряды народных мстителей. Только в конце 1432 года войско польского короля Ягайло овладело олесской твердыней.

Столетие спустя замок утратил уже значение оборонительного сооружения и превратился в резиденцию магнатских родов, выжимавших последние соки из местного населения. Однако замку суждено было еще не раз укрывать жителей близлежащих сел от страшных ордын-

ских набегов. Не раз он горел дотла и вновь поднимался из пепла. Под защитой его стен накапливали подкрепления во время освободительного похода удалые казаки Богдана Хмельницкого, чей отец, Михаил Хмель, служил прежде у здешнего воеводы И. Даниловича.

При нем замок перестраивался на итальянский манер, в ренессансном стиле. Был сужен детинец, возведен новый корпус, выросли дополнительные этажи и северная башня. Крепость становится дворцом, почти таким, каким мы видим его сегодня.

Ян III Собеский, облюбовав замок под свою пышную резиденцию, собрал в нем большую художественную коллекцию, а один из последних владельцев, воевода волынский Северин, щедро украсил интерьер и заказал у известного французского скульптора Леблана парковые скульптуры. С той поры сохранился рисунок замка, сделанный инженером Мюнтцем в 1781 году.

Конец 18-го и 19-й век — время постепенного упадка и разрушения Олесского замка. Не пощадили его и две мировые войны...

Вот почему идея полной реставрации и реконструкции замечательного памятника потребовала самоотверженных усилий всего города.

Восстанавливать замок регулярно приезжали студенческие отряды, бригады молодых рабочих, учащиеся школ и ПТУ. Без такой добровольной помощи горожан инициатору и душе предприятия — директору Львовской картинной галереи Борису Григорьевичу Возницкому с небольшой группой специалистов это предприятие вряд ли бы удалось.

Есть некий глубокий внутренний смысл в том, что молодежь выступает в первых рядах «друзей памятников старины». По сложившейся традиции выпускники Львовского художественного училища и Института декоративно-прикладного искусства свои дипломные работы преподносят в дар городу, настоящему музею под открытым небом. Около двадцати дипломов было защищено прямо «на натуре» — в Олесском замке. Монументальная деревянная скульптура в замковом парке, кованые фонари, флюгеры, вывески, декоративные решетки — все это создавалось руками ребят из училища имени И. Труша, которые не дают угаснуть искусству старинных львовских кузнецов и чеканщиков.

Реанимация. Это слово, заимствованное у медиков, означает не просто восстановить архитектурный памятник, но вдохнуть в него новую жизнь, приспособить к современным нуждам, сделать функционально полезным. Олесский замок в этом отношении не исключение. Он принял под свои древние своды филиал городской картинной галереи, богатую экспозицию культуры и быта западноукраинских земель. Сдружество, синтез различных культур только ярче оттеняют национальное своеобразие каждой.

Некоторым зарубежным «искусствоведам» Олесский замок служил расхожим аргументом в пользу того, что до появления ливонцев и шляхты здесь якобы не было каменных крепостей и сооружений. Но вот приступили к восстановительным работам, и под слоем земли открылся старательно измененный впоследствии первоначальный обвод

основания фундамента в форме овала, типичного для зодчества Киевской Руси.

Значит, была все же здесь древнерусская каменная крепость, встретившая батыево нашествие, а потом — западных завоевателей, которые возвели на месте ее готический замок в надежде навсегда похоронить память о ней. Была, и не одна!..

Так проясняется исторический контекст этого уникального архитектурного памятника, чья каменная летопись возвращает нас во времена домонгольской Руси, к общему истоку национальных культур трех братских славянских народов — русского, украинского и белорусского.

Талантливых же львовских мастеров на протяжении всего средневековья приглашали строить и расписывать дворцы и соборы далеко за пределами родного края. Великолепные творения их рук можно увидеть в Кракове и на Волыни, в Варшаве и Галиче... Им мы обязаны и олесской жемчужиной, что украсилась ныне такими художественными сокровищами, о которых не мечтали прежние владельцы замка.

...Идешь сквозь анфиладу дворцовых покоев по звонким мозаичным плитам, по затейливому орнаменту дубового паркета и словно попадаешь из эпохи в эпоху.

Найденные археологами при раскопках древнерусских городов Галича и Плиснеска искусные фигурки людей и животных, костяные жезлы, предметы бронзового литья, керамическая посуда, фрагменты «золотых кладов». Збручский идол, подлинный шедевр языческого искусства древних славян, а рядом — резные элементы декора средневековых зданий, поражающие самобытностью и тонкостью исполнения.

Собрание живописи Олесского замка — тема особая. Прекрасные образцы иконописи X—XVI веков доносят до нас сквозь строгие церковные каноны народный идеал духовной красоты, отголоски явлений общественной жизни. Реалистические тенденции, новый взгляд на человека, привнесенные эпохой Возрождения, шаг за шагом утверждают себя в жанре портрета. На полотнах Ф. Сеньковича, В. Петрановича, О. Билявского, в работах неизвестных художников XVII—XVIII веков уже видишь индивидуальную характерность персонажа, внимание к его внутреннему миру, порой сатирическую заостренность, граничащую с гротеском.

Крестьянин с палкой. Сельский знахарь. Два портрета начала 18-го столетия, первые на Украине изображения с натуры простых мужиков, отражающие стремление к демократизации живописи. И тут же — три изящных натюрмортов львовских художников того периода.

По историко-хронологическому принципу строится также экспозиция скульптуры музея, не уступающая его живописной коллекции. Алябастровое надгробие Анны Синявской (1574 г.) полнозвучным аккордом ренессансного гуманизма перекликается с барочной экспрессией и драматизированным напряжением образов львовской пластики XVIII века. А какая трагическая раздвоенность человека, осознающего свою мощь и одновременно бессилие перед разгулом стихии и общественными по-

трясениями, чувствуется в произведениях скульпторов М. Полейовского, Пинеля...

Течет анфилада залов, и каждый из них — тоже музейный экспонат. Мебель, светильники, шпалеры, гобелены точно соответствуют очередной исторической эпохе. Реставрированы лепные украшения, каминь, тщательно законсервированы остатки стюковой мозаики и настенной росписи.

Большинство экспонатов нового музея выставляется впервые. Часть датирована и подписана — это результат кропотливых поисков и исследований, другие вещи пока хранят тайну своего авторства. А в запасниках на втором этаже соседнего монастыря еще ждут реставрации и дополнительных выставочных помещений сотни и сотни не менее ценных икон, картин, тканей, деревянных скульптур, которые постоянно доставляют из экспедиций сотрудники Б. Г. Возницкого.

Усилиями энтузиастов удалось преобразить и большую запущенную территорию вокруг замка: ожили живописные аллеи, беседки, заняла свое прежнее место парковая скульптура, восстановленная система водоемов. Вот-вот заскрипят перед тяжелыми крепостными воротами цепи подъемного моста. В стилизованном под средневековые уютном погребке не смолкает восторженный гул туристских голосов...

* *
*

Мы покидали Олесский замок, переполненные впечатлениями проведенного здесь дня. И долго еще оглядывались на горделивый контур рыцарских башен, навечно теперь впечатанных в небесную голубизну этого края.

1983.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

В парке старинном...	3
День — и целая жизнь	11
Учитель с Пречистенки	22
Лири Каменяра	30
В ночь на Ивана Купалу	35
«Здравствуйте, Алексей Максимович!»	39
Олесская жемчужина	43

Юрий ОСИПОВ

В ПАРКЕ СТАРИННОМ...

Очерки

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор Т. Я. Ковыненкова

Сдано в набор 11.12.86. Подписано к печати 13.02.87.

А 00326. Формат 70 × 108^{1/2}. Бумага газетная.

Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10.

Учетно-изд. л. 3,11. Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 80000 экз.

Изд. № 646. Заказ № 4238. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

СТРАХОВАНИЕ ДЕТЕЙ К БРАКОСОЧЕТАНИЮ

● Страхование к бракосочетанию позволит вам в течение срока страхования путем небольших ежемесячных взносов создать определенные денежные накопления.

● Предусматривается также ответственность органов Госстраха перед застрахованными при наступлении в течение срока страхования определенных событий, связанных с состоянием их здоровья. При заключении договора страхователь может предусмотреть получение застрахованным удвоенной или даже утроенной суммы в случае стойкой утраты здоровья в результате травмы.

● Договоры страхования к бракосочетанию заключаются в пользу детей в возрасте до 15 лет родителями (усыновителями), бабушками, дедушками и другими родственниками ребенка.

● Страховая сумма будет выплачена юноше или девушке при вступлении в зарегистрированный брак (в возрасте от 18 до 21 года) или достижении ими 21 года.

● Договор страхования к бракосочетанию в пользу ребенка могут заключить граждане в возрасте от 18 лет, но не далее достижения ими 75-летнего возраста на момент окончания договора страхования.

● Размер страховых взносов зависит от возраста страхователя и страховой суммы. Минимальная страховая сумма — 300 рублей.

Уважаемые товарищи!

Подробную информацию о проведении страхования к бракосочетанию вы можете получить в инспекции Госстраха или у страхового агента, обслуживающего вас по месту работы.

Госстрах РСФСР